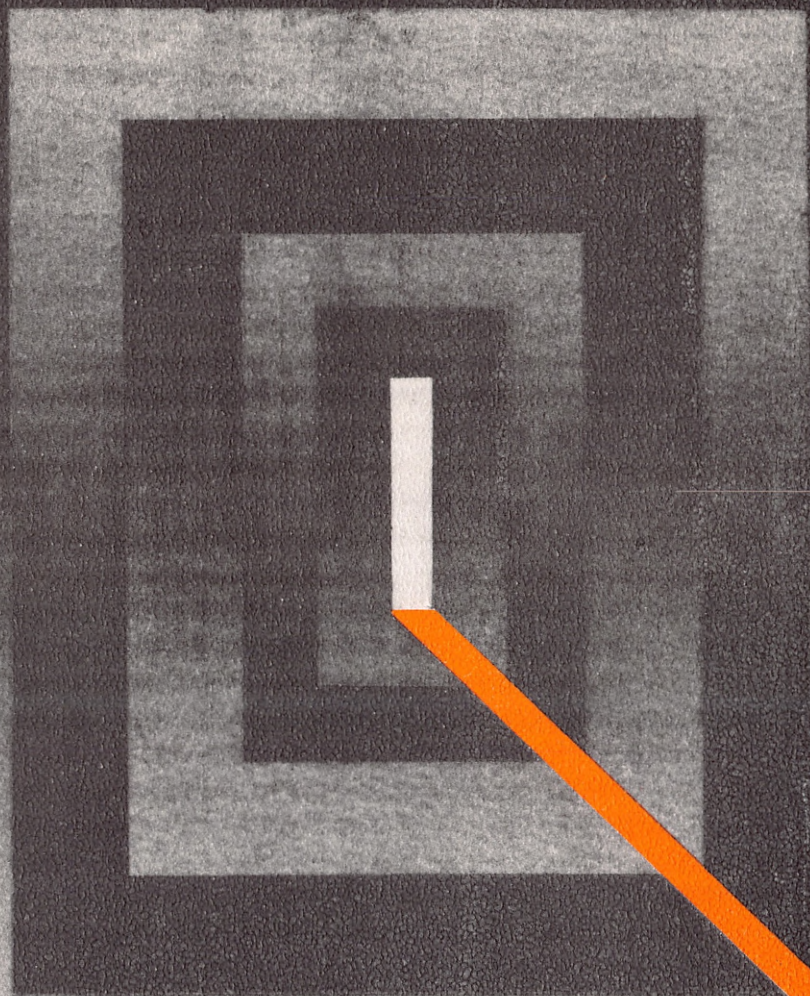


ЕВГЕНИЙ ГНЕДИН

ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА



ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА

**Евгений Александрович Гнедин и о нем.
Мемуары, дневники, письма**



**«Мемориал»
Москва, 1994**

*Издание осуществлено при содействии
Фонда Генриха Белля (Германия)*

Гнедин Е.А.

**Выход из лабиринта /Сост. В.Гефтер, М.Кораллов — М.,
«Мемориал», 1994 — 176 стр.**

Настоящим сборником представлено главное из творческого наследия Евгения Александровича Гнедина, личность и труды которого сыграли заметную роль в формировании независимого общественного сознания в нашей стране, особенно в 1960-1980-е гг. В первую очередь это относится к его мемуарам — уникальным воспоминаниям и размышлениям сына профессиональных революционеров, известного публициста и крупного дипломата, чья деятельность была оборвана в 1939 году арестом и последующими пятнадцатью годами тюрьмы и ссылки.

Сборник подготовлен по инициативе и при участии Научно-информационного и просветительского Центра «Мемориал».

Составители — В.М.Гефтер и М.М.Кораллов

Редактор — А.Ю.Даниэль

Художник — И.В.Бороздина

ISBN 5-88255-002-5

©НИПЦ "Мемориал", 1994.

©Т.Е.Гнедина 1994.

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Жизнь и судьба Евгения Гнедина — журналиста и дипломата, стойкого узника Гулага и «вечнопоселенца», новомирского автора 60-х и инакомыслящего более поздних лет — могли бы стать основой большого романа. Наш сборник — всего лишь попытка представить этого человека, собрав его основные работы и немногие «отражения» в других, тоже неординарных людях и обстоятельствах. Поэтому книга с подзаголовком «Евгений Александрович Гнедин и о нем» — не только свидетельские показания о Гулаге и репрессивном аппарате уходящей античеловечной Системы и не просто мемуары одной из ее жертв вместе с воспоминаниями об их авторе. Нашей задачей было помочь читателю узнать и понять этого человека — мужественного и обаятельного, честного и меняющегося, ясно мыслящего и сильно чувствующего. В его неповторимой индивидуальности с особой силой проступает тема, общая для всех нас и фундаментальная для России/Союза в XX веке — поиски того, что он сам неслучайно назвал «выходом из лабиринта».

С ними связаны и другие сюжеты, постоянные для Е.Гнедина во всех перипетиях его неотрывных друг от друга жизни и мысли. Краткое перечисление их может показаться традиционным и даже банальным:

- интеллигенция в России, ее место и судьбы;
- государство и Личность;
- соотношение целей и средств социальных, в том числе революционных, преобразований;
- бюрократия XX века, ее «лицо» и природа;
- антифашизм идейный и массовый (тридцатых-сороковых) и антитоталитаризм нравственно-личностный, правозащитный и диссидентский (семидесятых-восьмидесятых).

И впрямь, знакомые темы — но как они нестандартно и почти интимно «озвучены» в гнединских текстах, в том числе — вошедших в эту книгу. От давно известных по самиздату мемуаров до впервые публикуемых дневников шестидесятника, писем в писательские «инстанции» и соратникам по инакомыслию, а также нескольких стихотворений из «пожизненной» лирической исповеди Евгения Александровича.

Мы сочли естественным дополнить сборник материалами, позволяющими увидеть Евгения Александровича глазами других, близких ему людей. Именно поэтому книга открывается словами Лидии Корнеевны Чуковской, прозвучавши-

ми сразу после ухода Е.А. из жизни, а заканчивается диалогом-прощанием с ним Михаила Яковлевича Гефтера.

Основу сборника составляют три раздела. «Катастрофа и второе рождение» озаглавлен по названию рукописи мемуаров Е.А. и включает в себя их основной текст (за исключением главы «Дело о наследстве» и некоторых сокращений), а также предисловие Андрея Дмитриевича Сахарова к тамиздатовской публикации. Во второй, лагерный, вошли письма родным, воспоминания Надежды Марковны Гнединой и Льва Эммануиловича Разгона, отрывки из отклика Гнедина на первые произведения о лагерях. Третий раздел содержит писавшиеся в стол «Заметки для памяти» и «Из дневника интеллигента», показывающие, как жилось-думалось на переломе второй половины 60-х. Последовавший затем переход к «инакости» у людей гнединских биографии и склада, непростой путь к «выходу из лабиринта целей и средств» по-разному отразился в разнородных материалах этого раздела.

К сожалению, мало представлена в наследии Е.А.Гнедина основная тема его последних лет — защита прав человека и осмысление их места в современном мире. По Гнедину, она не только должна стать ядром всего сопротивления тоталитарной Системе и залогом ее грядущего реформирования или слома, но и является стержнем истории конца XX века. Е.А. постоянно говорил и писал о том, что отстаивание прав человека никогда не прекратится, меняясь лишь по форме и в деталях. Напомним, что это утверждалось словом и делом задолго до всяких перестроек и постперестроечных демократий.

Нам повезло — мы жили рядом и вместе с Е.А. и его работами. Пусть же и читателю будет наконец доступно хоть немного столь не «замутненного» ходом времени счастья узнавания, сопереживания и совместных размышлений.

Личность и творческое наследие Е.А.Гнедина, конечно, не исчерпываются этим первым на родине отдельным изданием. В издательстве «Прогресс» готов к выходу большой том его работ, который, надеемся, восполнит пробелы и недостатки настоящего сборника. Пользуемся случаем поблагодарить сотрудников издательства за содействие нашей работе. Мы благодарны всем предоставившим материалы о жизни и творчестве Евгения Гнедина и в первую очередь его дочери Татьяне, бережно сохранившей архив своего отца. Считаем своим долгом отметить приоритетные заслуги зарубежных и отечественных публикаторов работ Евгения Александровича Гнедина, краткая библиография которых приведена в конце сборника.



Слово над гробом

Если бы человек, незнакомый с Евгением Александровичем Гнединым, спросил меня: какой он? Я ответила бы так: лучезарный. Это человек, излучающий свет.

В чем тайна его улыбки, его лучезарности? Мне случилось видеть Евгения Александровича радостным и печальным, гневным, негодующим, веселым, огорченным, встревоженным, усталым, но никогда — издерганным, нервным, выбитым из колеи. Он обладал удивительным душевным равновесием.

Конечно, обращаясь к нему за советом, мне дорого было услышать его мнение, его совет. Но дороже, важнее — побывать в круге его лучезарности. Он помогал мне обрести и самой большую устойчивость. Крепче стоять на ногах.

Вероятно то, о чем я говорю, называется внутренней гармонией. Гармония одной человеческой души вносит гармонию и в другие души. Но тут я хочу отметить ещё одну черту Евгения Александровича, как будто противоположную сказанному. Он обладал свойством, которое Герцен назвал «отвагой знания». О доблести, о жизненной отваге Евгения Александровича говорить на приходится. Она известна всем. Нет, я говорю именно о смелости мышления. Приходя к мысли, опрокидывающей прежние, казалось бы нарушающей гармонию, — он не боялся додумать её до конца, бесстрашно встретить и принять её. Такое бесстрашие мало кому присуще. Оно нарушает самый элементарный душевный комфорт, к которому люди стремятся, пожалуй ещё пуще, ещё неуклонней, чем к внешнему.

Трудная внутренняя работа не исказила энергии добра, не нарушила душевного равновесия...

Я не знаю, верен ли закон сохранения энергии в физическом мире. Но в духовном — закон сохранения энергии безусловен. Та лучезарность, то лучеиспускание, исходящее от Евгения Александровича, о котором я говорила, сохранились и сохраняются. Сейчас, когда он только что покинул нас, мы остро ощущаем боль разлуки, разрыва, боль его отсутствия. Но энергия добра не может пропасть. С каждой минутой мы будем всё яснее ощущать: «разлучение наше мнимо», наша связь с Евгением Александровичем прочна. Светом своим он никого из нас не обделил. Энергия лучезарности сохраняется.

Лидия Чуковская

Слово при прощании с Е.А.Гнединым в Боткинской больнице 16.08.1983. (Архив семьи Гнединых).



— *«Извещаем о рождении крепкого, жизнерадостного врага государства. Наш сын родился в Дрездене утром 29 ноября... И хотя он родился на немецкой земле, у него нет родины... Мальчик будет нами воспитан как боец в рядах социально-революционной армии. Парвус и его жена.»*

(Из объявления в газете «Закяше арбайтер цайтунг» от 1.12.1898 г. по случаю рождения Евгения Гельфанда — Гнедина)

— *«В Москве жизнь и порядок в городе, уклад и даже течение культурной духовной жизни организуется, направляется советской властью, т.е. коммунистической партией, т.е. «марксистами», т.е. материалистами (в науке), т.е. проводниками идеи диктатуры пролетариата, т.е. сторонниками полного покорения личности государству, советскому государству... Москва диктует законы, на все налагает свою руку толпа, масса... мы встретимся в городе, где многое невозможно, если оно не угодно государству, где свободная личность часто сталкивается с волей коллектива». «Сейчас во мне происходит большая работа: я — убежденный сторонник советской власти, но я — не коммунист. Я не могу слиться с коллективом, с подавлением личности массой».*

(Из писем невесте, 1920 г.)

— *«По сути, выбора (пути в начале сознательной жизни) не было. Он был запрограммирован моим характером и средой, в которой я вырос. С юности я колебался между увлечением искусством и интересом к общественной деятельности. Эти колебания сохранились и после того, как весной 1920 года я совершил решающий шаг: отправился из Одессы в Москву, начав этот нелегкий в те времена исход в качестве конвоира продовольственного маршрута. Оставшись в Одессе, я не оказался бы в революционной атмосфере Москвы двадцатых годов и, может быть, и не втянулся бы целиком в жизнь советского государства. Производными от включения в государственную систему были самые противоположные события. Назову два: поездка в 1924 г. в Германию, чтобы передать советскому государству миллионное, как предполагалось, наследство А.А.Парвуса, моего отца; арест в 1939 году, не только положивший начало тяжким испытаниям, но и ускоривший эволюцию моего мировоззрения. В процессе этой эволюции я в значительной мере вернулся к тем взглядам на жизнь, которые были у меня в ранней молодости.*

...Если говорить не о внешних поворотах на жизненном пути, а о судьбоносных событиях во внутреннем мире, то в моей жизни судьбоносной была встреча с будущей женой. Конечно, личная жизнь сложна и переменчива. Но для моего душевного опыта поистине решающим было то, что я с юности убедился в оправданности возвышенного взгляда на жизнь и поверил в реальность сильных чувств. Открытия, сделанные в душевном опыте, повлияли на мое отношение к событиям во внешнем мире».

(Из интервью для самиздатского сборника «Память», 1981 год)

I

**КАТАСТРОФА
И ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ**

ЗАПИСКИ ДЛЯ ПОТОМКОВ

ВЕЧЕР 2 МАЯ 1939 ГОДА

В качестве заведующего Отделом печати НКВД СССР я должен был присутствовать на различных дипломатических приемах, но происходило это довольно редко. Я не искал этих встреч и даже уклонялся от них, порой вопреки моим служебным обязанностям. Случилось, однако, так, что 2 мая 1939 года я был на обеде у японского поверенного в делах Ниси в бывшем морозовском особняке на улице Коминтерна (теперь Дом дружбы с зарубежными странами).

В те годы мне представлялось, что дипломатия японского империализма обладает в наибольшей степени чертами, присущими определенному зловещему типу политиков: наглость в расчете на слабость противника, упрямство и лицемерие, возведенные в систему. Словом, я относился недоброжелательно к тогдашним японским дипломатам.

Мои настроения отразились на том, как я держался на обеде. Незадолго до того крупный японский журналист (кажется, даже директор газетного предприятия, сейчас не помню) побывал в Москве, был принят мною, а затем поехал в Варшаву и оттуда стал посылать враждебные по отношению к СССР статьи, написанные в совершенно ином тоне, нежели его высказывания в Москве и статьи, посланные из Москвы. Я воспользовался этим для того, чтобы на обеде в полемической форме раскритиковать нравы японской печати и её внешнеполитическую линию. Конечно, я тогда сознательно или полусознательно игнорировал то обстоятельство, что не всё в статьях японского редактора было клеветой. Очевидно, он сообщал какие-то данные о репрессиях и терроре в СССР. Но ведь мне надлежало по должности парировать выпады против нашей страны, тем более, что они исходили из заведомо враждебного источника. Я поступал в соответствии со своими обязанностями и ставил интересы государства, его внешнеполитический престиж выше истины.

В разгар обеда слуга доложил тихо хозяйину, что меня просят подойти к телефону. Оказалось, что меня срочно вызывают в секретариат наркома. Я сказал, что приеду, как только окончится обед. Такой вызов был совершенно необычным явлением. Поскольку звонили не мои дежурные цензоры и меня не соединяли с наркомом, я решил, что дело не в политических событиях, а просто сотрудник секретариата проявил чрезмерное и неуместное усердие. Однако минут

Впервые опубликовано в книгах «Катастрофа и второе рождение» (Амстердам, 1977) и «Выход из лабиринта» (Нью-Йорк, 1982). Сокращенный вариант, подготовленный Н.М.Гусдиной и С.И.Лариным по авторской рукописи был напечатан в «Новом Мире» №7 за 1988. Настоящая публикация основана на журнальном варианте последнего, но расширена нами за счет фрагментов нью-йоркского издания. — *Сост.*

через двадцать меня снова вызвали к телефону из секретариата наркома и сообщили, что я должен немедленно явиться в наркомат; меня попросили передать аналогичное распоряжение заведующему правовым отделом НКВД М.А.Плоткину, который тоже присутствовал на обеде. Я извинился перед посланником и тут же за столом сказал Плоткину, что его также желают срочно видеть по служебному делу. Плоткин, как и я, при первом звонке, решил, что происходит недоразумение, либо что я инсценировал вызов, чтобы демонстративно не засиживаться у японских дипломатов. В действительности, хотя на застольной беседе и сказались соображения внешнеполитической тактики, тем не менее я вовсе не был намерен нарушать правила и внешние формы дипломатической деятельности. Я говорю об этом по той причине, что в этот же вечер, руководствуясь именно подобными соображениями о необходимости соблюдать форму и порядок государственной работы, я совершил поступок, по существу правильный, но весьма неосторожный.

Я приехал в НКВД, вероятно, уже после 10 часов вечера. В «большом доме на Лубянке» (теперь — улица Дзержинского), расположенном против НКВД, окна на всех этажах как всегда ярко горели. В НКВД кипела работа. Но и в здании НКВД, где обычно вечером светились только лампы дежурных секретарей, в частности, в моем Отделе печати, — в этот поздний час был полностью освещен этаж, где находились кабинеты и приемные наркома, а между темными окнами других этажей сверкали огни в окнах кабинетов ответственных работников. Но внутри здания, в коридорах, было темно и пустынно, так как большинство сотрудников отсутствовали. В секретариате наркома я застал кое-кого из заведующих отделами, управляющего делами Корженко и нескольких сотрудников спецотдела (кажется, он тогда так назывался). Мне стало известно, что в здании НКВД заседает комиссия ЦК, которая намерена с нами беседовать.

Я пошел к себе в отдел и, просматривая вечерние телеграммы, мысленно готовился к беседе. Хорошо помню, что я был доволен, что предстоит встреча с комиссией ЦК; я надеялся лично изложить те проблемы работы с иностранной печатью, проблемы пропаганды и контрпропаганды, относительно которых мною были написаны докладные записки не только М.М.Литвинову, но и непосредственно в ЦК. О снятии Максима Максимовича с поста наркома я не знал; подобные предположения и не могли возникнуть именно в этот день, так как все видели Литвинова во время первомайского парада. Он находился на трибуне мавзолея и сидел в задумчивой и свободной позе чуть ниже той трибуны, на которой расположился Сталин и другие члены правительства, в том числе Берия, щеголявший, кажется, и на этом параде в военной форме НКВД. Позднее я подумал: возможно, Максим Максимович знал, что вскоре будет объявлено об его отставке и своим присутствием на параде демонстрировал, что он на свободе.

Не только я вечером 2 мая не знал, что разразилась катастрофа. Пока я у себя в кабинете ждал вызова в комиссию ЦК, ко мне зашел, тоже прибывший с дипломатического обеда, заведующий отделом Прибалтики Бежанов. Он еще не был в секретариате и, видимо, полагая, что произошли какие-то важные внешнеполитические события, хотел предварительно у меня проинформироваться. Обнаружив, что никаких особых международных событий нет, и, узнав от меня,

что среди работников, вызванных в секретариат, находится сотрудник спецотдела Токмаков (давний работник НКВД, в конце 20-х годов — секретарь комсомольской ячейки), Бежанов воскликнул: «О, значит, дело серьезное!» и поспешно удалился. В тот же вечер я узнал, что Токмаков ведал секретными личными делами работников НКВД; именно поэтому его появление в вечерний час в Наркомате «бывалый» наркоминделец (каким был Бежанов) счел событием более серьезным, чем даже международный кризис. В известной мере Бежанов был прав. Бедняга убедился в этом на себе: он был арестован, как и многие другие дипломатические работники.

Приближалась моя очередь вызова в комиссию и я отправился в «предбанник»; так государственные чиновники именовали помещение, из которого двери вели прямо в кабинет высокого начальства. Все находившиеся в «предбаннике» были напряжены и угрюмо молчали.

Не знаю, объясняется ли это чертами моего характера, или в самом деле еще не прошло действие напитков, которыми меня потчевали на дипломатическом обеде, но я был настроен именно так, как бывает настроен человек, который, выпив вина, готовится принять участие в интересном приключении. Но, конечно, я отнюдь не был склонен к шуткам, когда, войдя в большой кабинет наркома, я оказался перед столом, за длинной стороной которого восседали: в середине — Молотов, справа от него — начальник ИНО НКВД Деканозов, назначенный заместителем наркома иностранных дел; слева от Молотова сидели Берия и Маленков. По правую сторону от Молотова, у самого торца стола сидел М.М.Литвинов. Когда я оказался лицом к лицу с правительственной комиссией в таком составе, мне окончательно стало ясно, что комиссия прибыла в наркомат в связи со сменой руководства НКВД. Я, конечно, не был в состоянии тут же на месте оценить смысл происходящих событий и их возможные последствия. Правда, я и не намерен был, узнав об отставке М.М.Литвинова, менять линию своего поведения и держаться при встрече с комиссией ЦК иначе, чем я первоначально предполагал.

Мне было предложено рассказать о работе моего отдела. Такой вопрос, очевидно, задавался каждому заведующему отделом. Я говорил довольно подробно, стараясь поставить все те вопросы, разрешение которых я считал назревшим. У меня в памяти остались только проблемы, которые вызвали реакцию присутствовавших, вернее, Берии. Насколько я помню, при этой встрече Молотов был молчалив и все время что-то записывал. Я запомнил его реплики при второй встрече в тот же вечер. Максим Максимович слушал, сидя вполоборота, и только один раз метнул в мою сторону взгляд, когда я, объясняя по какому кругу проблем я получал указания лично от наркома, сказал, что директивы порою бывали очень краткими, но мне кажется, я их правильно понимал и поступал соответственно. Когда я заканчивал эту фразу, Максим Максимович уже снова отвернулся. Видимо, ему сначала показалось, что я хочу сказать что-то, направленное против него и его руководства, но он быстро понял, что я вовсе не имею таких намерений. Нет сомнений, что все мои предшественники (кажется, я был последним), учитывая конъюнктуру, в своих докладах комиссии ЦК сделали немало выпадов против М.М.Литвинова.

Деканозов слушал молча, с глупо равнодушным и скучно угрожающим видом. В нем было какое-то малопочтенное сочетание мелкого торговца, подражающего в манерах крупным коммерсантам, и мелкого полицейского, подражающего жандармскому полковнику.

Маленков, тогда еще молодой государственный деятель, не произнес ни слова, но по мере того, как я говорил, его лицо приобретало удивленное, чуть смешливое выражение; он, казалось бы, думал: «Какие, однако, еще бывают чудачки в государственном аппарате».

Когда я характеризовал иностранных корреспондентов, Берия, поблескивая стеклами пенсне, воскликнул, как мне сначала показалось, раздраженно, а в действительности угрожающе: «Об этом мы с вами еще поговорим!». Я развивал свою излюбленную мысль, что у нас плохо поставлена и не организована контрпропаганда, и даже простая пропаганда за границей наших достижений, и что иностранные журналисты, писатели и ученые лишены возможности получать сведения о наших успехах, в распространении которых мы заинтересованы. В качестве одной из иллюстраций я упомянул о том, что иностранные корреспонденты приходили в Отдел печати за сведениями, относящимися к области обычной экономической статистики. Берия меня вновь атаковал: «Так вы и этим занимались!». На сей раз «тональность» реплики была совершенно ясна; мысленно выпятив грудь, я отвечал, что раз партия меня поставила на данный пост, я должен исполнять все выпадающие на мою долю обязанности, и смысл моего доклада как раз заключается в констатации ненормальности положения, сложившегося в области информации для заграницы о наших успехах.

Не могу не нарушить последовательность изложения, но читателям будет ясней описываемая ситуация, если я скажу, что 2 мая 1939 года, вечером, Берия уже располагал чудовищными «показаниями» против меня, которые, вероятно, он же лично накануне добыл с помощью пыток от человека, арестованного в ночь на 1 мая. Об аресте этого товарища — Е.В.Гиршфельда, с которым у меня не было близких личных отношений, я слышал, а фантастические показания несчастной жертвы Берия я прочел уже после того, как сам был подвергнут пыткам.

Самая острая проблема, поднятая мною в докладе комиссии ЦК, ранее еще не была затронута в моих докладных записках. Я считал, что, получив возможность выступить перед комиссией ЦК, я должен договорить все до конца. Я высказал и мотивировал мысль, что цензура телеграмм иностранных корреспондентов не имеет смысла и практического значения, более того, она вредна. Благодаря прогрессу в технике связи и постоянному контакту с дипмиссиями иностранные корреспонденты имеют возможность самыми различными путями посылать свою информацию помимо цензуры. Зато, обращаясь к цензору и составляя в соответствии со своими намерениями телеграммы, на основании того, что цензор вычеркивает, что он пропускает и что вставляет, могли проверить свою информацию или получить сведения, которые мы в данный момент не стали бы им давать. Я предложил отменить цензуру телеграмм иностранных корреспондентов.

Молотов явно старался держаться надменно и недружелюбно, но у меня тогда создалось определенное впечатление, что брюзгливая гримаса, застывшая

на его лице, прикрывает растерянность. Когда я высказал «крамольные» мысли о цензуре, он придал своему лицу еще более недовольное выражение, одновременно делая пометки на бумаге. Маленков тогда, очевидно, взглянул с усмешкой и изумлением, между тем как Берия, видимо, выразил общие чувства комиссии, воскликнув с искренним возмущением: «Вы говорите вещи, которые не решится сказать даже член Политбюро!» (этот своеобразный комплимент я запомнил на всю жизнь).

Когда я после встречи с комиссией ЦК вернулся в Отдел печати, мне стало известно, что дежурного цензора атакуют иностранные корреспонденты с сенсационными телеграммами об отставке наркома иностранных дел СССР. Некоторые из корреспондентов добивались, чтобы их принял. Я решил этого не делать, хотя обычно в дни больших событий всегда беседовал с наиболее видными журналистами и помогал цензорам. Однако, вместе с тем, я считал, что не должен вовсе прятаться от корреспондентов именно в этот вечер. Это дало бы повод для предположений, которые я считал нежелательными. При отсутствии каких-либо директив цензор не пропустил бы ни одной телеграммы с комментариями по поводу отставки Литвинова, а это, полагал я, имело бы вредные последствия; широкая печать сразу же подняла бы шум, заговорила бы «о растерянности в Москве» и даже о кризисе. Моим служебным долгом было предотвратить подобную ситуацию.

Все же я выбрал форму, наименее меня обязывающую. В пальто и шляпе я зашел в помещение цензуры, находившееся в первом этаже, с входом прямо с улицы. Обступившие стол взволнованного цензора взбудораженные корреспонденты сразу забросали меня вопросами. Я предупредил, что не имею никаких полномочий комментировать отставку Литвинова и зашел лишь для того, чтобы помочь цензору и облегчить отправку информации. Тем не менее, мне задавались вопросы, и я на них отвечал, каждый раз оговариваясь, что выражаю свое личное мнение. Корреспонденты не были назойливы и удовлетворились моими ответами на несколько вопросов, суть которых, сколько помню, свелась к двум.

Один вопрос имел, конечно, кардинальное значение: «Означает ли отставка Литвинова изменение внешней политики СССР?». Я ответил, что в СССР политику определяют не отдельные наркомы, а ЦК и высшее руководство партии, поэтому смена лиц сама по себе у нас не означает перемены политики. Это был в принципе правильный ответ, и подобного рода разъяснения, вероятно, не раз давали наши дипломаты. (Исключением из правила явилось то, что Г.А.Астахов, поверенный в делах в Берлине, как теперь стало известно из опубликованных за рубежом архивных документов, уже 2 мая, очевидно по директиве, осторожно выяснял, как отнесется гитлеровская дипломатия к последствиям снятия Литвинова с поста наркома и к новым перспективам советско-германских отношений. Но тайные маневры по подготовке сговора с гитлеровской Германией — особая тема, освещением которой я не стану здесь осложнять мое повествование.)

Возвращаясь к моей беседе с иностранными журналистами 2 мая 1939 года. Второй вопрос, заданный ими, от ответа на который я не мог уклониться, был несколько бестактным. Они спрашивали, является ли Молотов знатоком международной политики и знает ли он иностранные языки. Я ответил, что Мо-

лотов — крупнейший государственный деятель и, естественно, он знаток всех важнейших проблем, в том числе и внешней политики.

Завизировав телеграммы, я поднялся обратно в Отдел печати и тут же продиктовал точный отчет о содержании телеграмм иностранных корреспондентов, их вопросов и моих ответов. Я переслал мою справку через дежурного в кабинет, где еще заседала комиссия ЦК.

Через несколько минут после передачи моей справки меня вызвали в кабинет комиссии ЦК. М.М.Литвинова уже не было в кабинете. Члены комиссии, очевидно, только что оживленно и шумно беседовали между собой и замолчали при моем появлении. Берия глядел на меня в упор сквозь стекла пенсне еще более недружелюбно и даже с некоторым злорадством. Тогда я не подозревал, но теперь понимаю, что он уже мысленно видел меня распростертым на полу его кабинета.

Молотов стоял у стола явно взволнованный. Если бы иностранные корреспонденты его видели в эту минуту, они все же сообщили бы в своих телеграммах, что «Москва растерялась». Потрясая моей справкой, Молотов яростно обрушился на меня.

«Мы не нуждаемся в ваших рекомендациях», кричал Молотов. Кажется, тогда же, а может быть при первой встрече, он произнес фразу, которую я запомнил, очевидно, потому, что все же был польщен: «Вы не гений, но человек умный, и должны были бы понимать...» Ни слова не было сказано по существу о том, что не надо было даже косвенно опровергать предположения о предстоящей перемене внешней политики. Не могу сказать, что вся эта тирада и ругань были ясным выговором именно за то, что я встретился с корреспондентами. Может быть, и так. Но, вероятно, из моей справки все же было видно, что я не мог избежать этой встречи.

Сцена, разыгравшаяся в кабинете комиссии ЦК, конечно произвела на меня сильное впечатление. Я не мог тогда сохранить уверенность в том, что действительно не совершил ошибки и во всяком случае понял, что сразу «впал в немилость». Я допустил, что меня снимут с работы, не в наказание, а просто по той причине, что заведующий Отделом печати должен быть доверенным и близким сотрудником руководителя внешней политики. Любопытные события, происшедшие через несколько дней, несколько рассеяли мои опасения. Об этом я буду говорить в следующей главе.

КАНУН АРЕСТА И АРЕСТ

Через два дня после моего доклада комиссии ЦК я проводил какое-то совещание со своими референтами в обстановке довольно мрачной, потому что мои молодые сотрудники считали меня полутрупом или затравленным зверем, на которого они, наконец, набросятся по первому сигналу. Внезапно зазвонил прямой правительственный телефон, и присутствовавшие были ошарашены, поняв, что со мной беседует сам Молотов и притом благожелательно. Действительно, Молотов, назвав меня по имени-отчеству, сказал примерно так: «Мы здесь решили принять ваше предложение и отменить цензуру. Ну что — вы довольны?».

В трубку доносились голоса беседующих людей, и я подумал, что Молотов говорит из кабинета самого Сталина. «Мы здесь решили...». Я был действительно доволен.

Молотов продиктовал мне по телефону заявление, которое я должен был сделать иностранным корреспондентам. Разумеется, надо было дать понять, что сенсационное мероприятие проводится по личному распоряжению нового наркома иностранных дел и что это одно из его первых распоряжений.

Собравшиеся в моем кабинете в полном составе иностранные корреспонденты были готовы услышать любую новость, но отнюдь не сообщение об отмене цензуры. Вопросы удивленных журналистов касались лишь нового порядка подачи телеграмм и ответственности корреспондентов. Только Генри Шапиро (тогда — корреспондент агентства Рейтер) спросил, отменяется ли также цензура в отношении советских газет. Насколько помню, я ответил, что мои полномочия относятся только к деятельности иностранных корреспондентов.

Отмена цензуры, проведенная в мае 1939 года впервые за все время существования советского государства, была недолговечным мероприятием. Через несколько месяцев, кажется, сразу после начала войны в Европе, цензура была восстановлена. В 1961 году цензура телеграмм иностранных корреспондентов была отменена, но, видимо, никто не вспомнил, что такое мероприятие уже было однажды осуществлено накануне второй мировой войны.

После того, как я встретился с иностранными корреспондентами, я передал Молотову через секретаря проект шифрованных телеграмм нашим послам с информацией об отмене цензуры и с некоторыми разъяснениями. Молотов меня пригласил в кабинет и как ни в чем не бывало поздоровался за руку. (Меня поразило, что у такого жесткого политика столь вялое рукопожатие слабохарактерного человека). Телеграммы были подписаны без малейших поправок. Нарком беседовал со мной, соблюдая дистанцию, но приветливо. Мне показалось, что скверный сон миновал, возобновляется нормальная деятельность. Но страшный сон лишь начинался.

Стало известно, что арестован Назаров, личный секретарь М.М.Литвинова, очень хороший, дельный, скромный молодой человек. Через несколько дней после 2 мая мне позвонил из дому по правительственному телефону М.М.Литвинов. Не помню, какой вопрос он мне задал, я же рассказал ему о том, что бывший его секретарь не является на работу, «исчез». Это был мой единственный разговор с Максимом Максимовичем после его отставки, последний наш разговор, последнее проявление его личного доверия ко мне при отсутствии каких бы то ни было личных отношений.

Этот эпизод не имел никаких последствий, хотя бы уже потому, что судьба людей решалась независимо от их поведения. Работники государственного аппарата могли поступать в согласии с моральными принципами и человеческим достоинством, даже если это было сопряжено с риском, но одновременно — как в описываемом эпизоде, — чувствуя, что ставят себя под удар, старались «проявить лояльность» по отношению к руководству, по-прежнему не совершая подлостей. Между тем подобные наивные маневры порядочных людей им помочь не могли, а совершать их не следовало хотя бы из чувства самоуважения.

Вскоре Деканозов сказал мне, что мой заместитель будет снят с работы. Конечно, мне оставалось только принять к сведению это сообщение нового начальства. Однако, указав на положительные качества Г.Н.Шмидта, я просил дать мне в помощники работника, обладающего подобными же достоинствами, в частности, административными способностями. «Я плохой администратор», — добавил я, потому что никогда не хотел заниматься административной деятельностью. Деканозов ответил: «Не знаю, какой вы администратор, но я слышал, что организатор вы хороший». Знакомая в тюрьме со справкой о моей мнимой «преступной деятельности», которую, быть может, сочинил именно Деканозов, я мог догадаться, что, говоря мне о том, что я хороший организатор, Деканозов, по его мнению, «тонко намекал», будто знает о моей «причастности к антисоветской организации». Зачем этот злой человек делает такие намеки — трудно объяснить. То ли стремясь запугать, то ли из тщеславия? Психология этих ничтожных злодеев непонятна нормальным людям.

Из этого разговора с Деканозовым я сделал вывод просто смехотворный в свете последующих событий. Я сказал жене, что, видимо, скоро вернусь на прежнюю журналистскую работу. Новое руководство пожелает заменить меня своим человеком, и меня отпустят обратно в журналистику, «как только я подготавливаю себе смену». Я рассказываю об этом проявлении наивности, как и о многом другом, чтобы осветить психологию людей, ставших жертвами репрессий, а следовательно, облегчить и понимание самого механизма репрессий. Я заметил, между прочим, что встречающиеся в мемуарах И.Г.Эренбурга упоминания о наивности, проявленной, казалось бы, трезво мыслящими и осведомленными людьми, вызывают совершенно напрасное недоверие у современных читателей.

Еще через несколько дней мне рассказали, что Молотов, совершая обход наркомата, оказавшись у дверей Отдела печати, прошел мимо в другой отдел. Это было признано знаменательным сигналом. Вакуум вокруг меня замкнулся. Как-то забежал заведующий Правовым отделом М.А.Плоткин и рассказал, что Молотов пробыл у него довольно долго и выслушал доклад о работе Правового отдела. В разговоре со мной, с заведующим отделом, к которому Молотов не зашел, М.А.Плоткин надеялся убедиться, что Молотов к нему лично проявил благосклонность. Бедный Марк Абрамович не знал, что это «благоволение» отсрочит его арест лишь на несколько недель.

Вернувшись после реабилитации в Москву, я узнал от Б.Е.Штейна, что, сдавая дела Молотову в мае 1939 года, М.М.Литвинов назвал Плоткина и меня в числе самых способных работников центрального аппарата НКВД СССР. Услышав о моем аресте, Максим Максимович не только огорчился, но и винил себя; по словам Б.Е.Штейна, он полагал, что, отозвавшись обо мне похвально, он вызвал этим недоброжелательное отношение ко мне Молотова, и тот решил от меня избавиться, ускорив мой арест. В действительности сыграли роль иные мотивы. Во всяком случае, рассказ Б.Е.Штейна о реакции М.М.Литвинова на мой арест позволяет утверждать, что не только некоторые романтики или плохо осведомленные люди, но и такой трезвейший и точно мысливший человек, как М.М.Литвинов, все же не всегда ясно представлял себе психологию злодеев и механику избивания кадров в сталинские времена.

10 мая 1939 года Деканозов попросил меня явиться к нему в 10 часов вечера. Днем я зашел к секретарю наркома (там почему-то не было ни души) и попросил выяснить, какова резолюция наркома по какой-то моей записке. Секретарь, вернувшись от Молотова, с нескрываемым удивлением сообщил, что нарком хочет меня видеть. В маленьком кабинете, где меня раньше принимал Литвинов, стоял позади письменного стола у стены Молотов, заложив руки за спину. На этот раз рукопожатия были отменены. Он глядел на меня внимательно и, как мне показалось, с непонятным любопытством. Задав несколько вопросов по служебным делам, он задумчиво повторил вслух один из моих ответов, все еще как бы приглядываясь ко мне. После того, как я упомянул, что вечером буду с докладом у его заместителя, Молотов меня отпустил.

В начале вечера я отправился на Центральный телеграф. В самых недрах этого правительственного учреждения, в зале, где, как мне помнится, на возвышении сидел человек в наушниках, видимо, контролируя какую-то радиопередачу или линию связи, я в уголке, за маленьким столиком, просматривал принесенные мне телеграфные бланки с сообщениями иностранных корреспондентов, которые теперь, в результате моей собственной инициативы, давали информацию помимо Отдела печати. Вдруг в это помещение, где соблюдалась полная тишина, запыхавшись, вошли три человека. «Ах, вы здесь», — бессмысленно воскликнул один из них. Он тут же снял телефонную трубку, позвонил Деканозову, доложил: «Гнедин здесь на телеграфе» и передал мне трубку. Деканозов выразил удивление, что я к нему не явился. Я сослался на то, что еще нет 10 часов и сказал, что немедленно приеду.

Я направился к выходу, сопровождаемый тремя субъектами. Пока я говорил по телефону, эти «подоспевшие сотрудники» нетерпеливо переминались с ноги на ногу, а теперь, с трудом прикрывая назойливость деланной любезностью, предложили мне поехать в их машине. Я ответил, что меня ждет моя машина.

Из подъезда я вышел одновременно с несколькими хорошенькими девушками — хористками или актрисами радиовещания. «Подвезите нас!» — кокетливо крикнула одна из них. «В другой раз», — обещал я за час до своего ареста. Девушки весело рассмеялись. Мне тоже стало весело.

Был настоящий майский вечер, вечер надежд и обещаний. На улицах было оживленно. Сидя в быстро мчавшейся машине, я глядел на Москву, и мне было хорошо. Я был готов к тому, что меня ждут какие-то важные и, возможно, неприятные впечатления, но жить было интересно, и я радовался этому. Мой органический оптимизм на этот раз обманывал меня, а вернее, спасал.

В здании НКВД в тот вечер было темно, тихо, но не вовсе пусто. Обычная жизнь замерла, но какие-то едва уловимые признаки свидетельствовали о том, что в доме беспокойно. Навстречу мне по лестнице спускался явно озабоченный заведующий Финансовым отделом НКВД, рядом с ним шел незнакомый человек. Трудно было догадаться, что я встретил арестованного работника НКВД, которого агент НКВД сопровождал в тюрьму. Я прошел к себе и спросил дежурного, где мой заместитель. «Он наверху», — необычно угрюмо ответила девушка. «Вероятно, внизу», — сказал я, имея в виду кабинет Дека-

нозова, находившийся двумя этажами ниже. «Теперь уже все равно, внизу или наверху», — последовал загадочный ответ.

Незнакомый мне дежурный секретарь подтвердил, что заместитель наркома иностранных дел меня ждет. Я отворил знакомую дверь. На пороге передо мной встал неизвестный в штатском, направляя мне прямо в грудь револьвер: «Вы арестованы», — сказал он и быстрыми профессиональными движениями свободной руки похлопал меня по карманам моего пиджака и брюк. Впервые я испытал, что практически значит «потемнело в глазах». Я сделал несколько шагов вглубь комнаты. За большим столом Бориса Спиридоновича Стомонякова восседал Деканозов все с тем же глупо равнодушным и скучно угрожающим лицом. Неожиданно для самого себя я сказал, отстраняя агента: «Нельзя ли без такой лихорадочной нервозности». Деканозов потребовал от меня ключи от сейфа в моем кабинете (этот сейф, как правило, был пуст). Я стал бросать на стол нового замнаркома иностранных дел все, что было в карманах: бумажник, ключи, кошелек, листки с записками, которые я делал при чтении телеграмм. Бумажки Деканозов поспешно схватил, коробку с папиросами вернул; кажется, я кинул ее обратно на стол.

Засим Деканозов дал мне чистый конверт и предложил написать на нем мой адрес. В этот конверт он вложил ключи от моей квартиры. Позднее жена мне рассказывала, как, увидев в руках агента, явившегося с обыском, конверт, написанный моей рукой, она рванулась к нему, воскликнув: «Мне записка! Дайте!» Тот невозмутимо вынул из конверта ключи и показал пустой конверт: «Записки нет». Но конверт жена сохранила до настоящего времени.

От Деканозова, в сопровождении уже успокоившегося агента, понявшего, что сопротивления я не окажу, я отправился в свой кабинет, взял плащ и, уходя, сказал секретарше: «Сегодня я уже не приду». Она опустила голову, стараясь скрыть слезы. Из дверей одной из комнат выглянул сотрудник Отдела печати Ярошевский, которому, собственно, незачем было здесь находиться в этот час.

Совершенно так же, как встретившийся мне на лестнице заведующий Финансовым отделом, я свободной походкой делового человека вместе с сопровождающим вышел на улицу. Напротив, как всегда, сияли окна «большого дома на Лубянке». Там, как всегда, кипела работа. Мы пересекли улицу и, пройдя по переулку, свернули по направлению к площади Дзержинского в узкую Малую Лубянку.

Прямо с улицы мы зашли в небольшое помещение, напминавшее экспедицию по сдаче и приемке почты. Но здесь принимали не пакеты, а людей при пакетах. Получив расписку, агент удалился. Он сдал меня на тюремный конвейер. Моя первая жизнь кончилась.

ПЫТКИ

Переживания советского гражданина, попавшего в сталинскую эпоху сразу после ареста в здание НКВД СССР, можно сопоставить с низвержением в ад, но надо при этом в традиционную картину ада внести поправку. Грешники, осужденные церковью, знали, что они — грешники и готовились покаянно принять муки за свои грехи. Но каково было бы праведнику, предполагавшему, что

его место в раю, очутиться в «геенне огненной»? От подобного «страха и ужаса» веет апокалипсисом.

Когда я переступил порог тюрьмы, меня поразила какая-то неестественность открывшегося мне зрелища. По плохо освещенному, на первый взгляд пустому, помещению расхаживали люди в военной форме, но в домашних войлочных туфлях. Господствовала полная, но странная тишина, странная, потому что где-то в самой глубине этой тишины таились чуть уловимые звуки и шорохи, источник которых был незрим. По временам раздавалось звонкое щелканье. Я впервые услышал, как щелкают языком или пальцами либо стучат ключом по пряжке пояса охранники, подающие сигнал: «Веду заключенного». Так предотвращалась встреча арестантов. Тот конвойер, который первым дал сигнал, двигался по своему маршруту, другие оставались за углом или прятали своего подопечного в один из шкафов, для этой цели устроенных на всех путях прохождения конвоев.

Меня доставили в камеру, расположенную в нижней части корпуса. Лампа, ввинченная над дверью так, чтобы лучи были направлены вглубь помещения, бросала тусклый свет на довольно узкую камеру с тремя койками; две были заняты, третья ожидала меня. Как только щелкнул замок, мне навстречу поднялись два призрака, два бледных человека в нижнем белье. Первый вопрос: «С воли?», второй вопрос: «Это правда, что издан новый уголовный кодекс?». Так я в первые же минуты моего тюремного заключения услышал вопрос, который потом в течение полутора десятка лет не раз задавался и дебатировался в моем присутствии. Столь многих людей не оставляла надежда, что незаконно будет положен конец и притом простым путем: благодаря новому уголовному кодексу...

Я отвечал, что не интересовался этими проблемами, кажется, была какая-то статья в «Известиях» о подготовке кодекса, кроме того, после прихода Берии в НКВД сообщалось о пересмотре ряда дел. «Впрочем, — добавил я не без достоинства, — я не знаю, с кем говорю». На сей раз не агенты палачей, как это было при моем аресте, а жертвы палачей поняли, что имеют дело с простаком. Мои соседи прекратили разговор и улеглись по койкам. Тем временем я стал читать висевшие на стене в рамке «Правила внутреннего распорядка в тюрьмах»... Теленок до последнего мгновения не знает, что его привели на бойню... Слово «тюрьма» меня больно ранило: «Итак, я действительно в тюрьме!». Но привычный охранительный рефлекс направил реакцию по более спокойному руслу: «Я никогда не бывал еще в тюрьме. Это все же интересно». Я стал укладываться на койке, стараясь себя успокоить такой гипотезой: меня поставили в самые худшие, самые тяжелые условия, ошибочно предполагая, что я знаю какие-то такие подробности о работе НКВД до смены руководства, которых я в обычных условиях не рассказал бы. Словом, меня проверяют. Я выдержу испытание и буду освобожден...

Засим произошло нечто неправдоподобное. Я даже не решился бы об этом говорить, если бы не свидетельство других людей. Улегшись на моей первой тюремной койке, я тотчас же крепко заснул.

Примерно часа в три ночи меня разбудил тюремщик: «На допрос, бы-стро!». Два конвоира, держа меня за обе руки, сведенные вместе на спине,

повели вниз по лестнице, затем по тюремному коридору. У решетчатой двери оформили какие-то документы и вывели меня в один из коридоров главного здания. Меня доставили в какую-то канцелярию; там, несмотря на поздний час, было оживленно, стучала машинка, чиновники говорили по телефону, никто не обратил внимания на появление заспанного и взволнованного человека под охраной. Открыв обитую кожей типичную дверь сановного кабинета, конвоиры ввели меня в большую комнату с завешанными окнами. Меня посадили на стул в середине комнаты.

Передо мной за солидным письменным столом восседал тучный брюнет в мундире комиссара первого ранга — крупная голова, полное лицо человека, любящего поест и выпить, глаза навывкате, большие волосатые руки и, как я позже заметил, короткие кривые ноги. Таким я запомнил тогдашнего начальника Особой следственной части НКВД СССР Кобулова, который, как и арестовавший меня Деканозов, был расстрелян вместе с Берией в 1953 году.

Кобулов заканчивал разговор по телефону. Заключительная реплика звучала примерно так: «Уже сидит и пишет, да-да, уже пишет, а то как же!» Кобулов весело и самодовольно хохотал, речь шла, очевидно, о недавно арестованном человеке, дававшем показания.

Обернувшись ко мне, Кобулов придал своему лицу угрожающее выражение. Не отводя глаз, он стал набивать трубку табаком из высокой фирменной коробки «Принц Альберт». Я сам курил трубку и очень ценил этот превосходный американский табак, который в Москве нельзя было достать.

Сразу после вступительных формально-анкетных вопросов Кобулов провозгласил: «Вы арестованы как шпион...». Помнится, он добавил: «крупный шпион». Хорошо запомнил свой ответ: «Кличка «шпион» ко мне не пристанет!». Эта задорная фраза не была чистой импровизацией, так как я уже раньше мысленно готовился к тому, как я в парткоме или другом месте дам отпор клеветническим обвинениям в шпионаже. Ведь на протяжении двух лет мне часто приходилось на собраниях быть свидетелем того, как исключаемым из партии и обреченным на арест сотрудникам НКВД предъявляли обвинение в связях с «шпионами». Да и газеты пестрили такими обвинениями.

Грозным тоном Кобулов заявил мне, что я разоблачен и вскоре буду расстрелян.

Полагая, что он меня достаточно запугал, Кобулов потребовал, чтобы я ему рассказал о моих «связях с врагами народа». Я отверг и это обвинение, но, стремясь подтвердить свою невиновность и продемонстрировать уверенность в себе, я сделал ошибку (если угодно, глупость), которая могла бы причинить вред и мне, и другим людям. Уверенный в своей правоте и в чистоте моих друзей и товарищей, я заносчиво заявил, что охотно назову фамилии всех моих арестованных приятелей и сослуживцев. Кобулов с нескрываемым удовольствием схватил авторучку и стал записывать называемые мною фамилии. Иногда я говорил: «Эту фамилию подчеркните, это — мой близкий друг». Кобулов послушно и поспешно подчеркивал. Насколько я помню, набралось больше десятка фамилий.

Моя ошибка заключалась в следующем. Во-первых, среди названных мною товарищей мог быть какой-либо вынужденный дать показания против меня

(один такой был), таким образом получалось, что я сразу «признал связи» с тем человеком, который в свою очередь уже в специфическом, продиктованном палачами контексте говорил о «связях» со мной. Во-вторых, мое чистосердечие было неосторожным и опасным потому, что если бы кто-нибудь из названных мною арестованных ранее товарищей не давал показания или против него не набрали достаточно показаний, то мое упоминание о нем, хотя бы и в невинной формулировке, могло быть использовано против него.

Сходную ошибку с опасными и весьма трагическими последствиями совершили сотни и сотни несчастных людей. Не в силах выдержать пытки или стремясь их избежать, но вместе с тем стараясь не причинять вреда невинным людям, еще не попавшим в лапы палачей, подследственные упоминали в своих показаниях знакомых или сослуживцев, даже давно арестованных. А потом порой оказывалось, что эти лживые, но «свежие» показания давали следователям возможность довести до конца затянувшееся или не вполне удачно «оформленное» дело.

Однако моя неосторожность не имела последствий. (Слово «к счастью» здесь неуместно). Во-первых, я сумел остаться и в дальнейшем на позиции, занятой мною с самого начала, и не чернил моих друзей, фамилии которых я продиктовал Кобулову; во-вторых, мои друзья, как я себе представляю, не давали против меня показаний; в-третьих, почти все они уже были уничтожены ко дню моего ареста, чего я, конечно, не знал. Наконец, как стало мне ясно только к концу следствия, основные клеветнические показания против меня были получены именно от таких лиц, которые мне не пришло в голову назвать в числе моих друзей и близких знакомых.

К концу первого допроса Кобулов спросил меня, довольно неуклюже: «Это верно, что вы спали в камере?». Очевидно, за мною было установлено специальное наблюдение. Я ответил, словно извиняясь за допущенную бестактность, что последние дни у меня было много работы и я не выспался. Кобулов посмотрел на меня внимательно и сказал: «Вы, видно, все еще не понимаете, что с вами произошло. Ваша прежняя жизнь не возвратится (приблизительно так он сказал). Ее отделяет пропасть от вашей дальнейшей жизни».

Я отметил про себя, что в начале Кобулов мне грозил скорым, чуть ли не немедленным расстрелом, а теперь как бы проговорился, что я еще буду жить.

На рассвете в камеру вернулся после допроса не протак, предполагавший, что сумеет рассеять подозрительность, проявив честность и откровенность, а человек, окончательно понявший, что ему предстоит защищать свое честное имя и самую жизнь в труднейших условиях.

На этот раз я уже не заснул, тем более, что в шесть часов в тюрьме был подъем.

Одним из соседей по моей первой тюремной камере был пожилой полковник генерального штаба, насколько я понял, офицер царской армии, в начале революции перешедший на сторону советской власти. Он держался с большим достоинством и сдержанностью, пытался скрыть свою тревогу. Когда мы однажды остались вдвоем, полковник постарался дать мне понять, что надо держаться осторожно с нашим третьим соседом. Этот сосед, как он сам хвастал, был до ареста секретарем или «порученцем» у какого-то видного работника НКВД.

Не успел я освоиться с тюремным бытом и собраться с мыслями, как меня, примерно в девять утра то есть часа через четыре после окончания первого ночного допроса, снова вызвали на допрос. На сей раз меня конвоировали три человека. Третьим сопровождающим, к моему глубокому удивлению, был человек, которого я знал в лицо и считал работником Верховного суда.

Через площадку парадной лестницы, через приемную и обширный секретариат меня провели в кабинет кандидата в члены Политбюро, наркома внутренних дел Л.П.Берии. Пол в кабинете был устлан ковром, что мне вскоре пришлось проверить на ощупь. На длинном столе для заседаний стояла ваза с апельсинами. Много позднее мне рассказывали истории о том, как Берия угощал апельсинами тех, кем он был доволен. Мне не довелось отвесть этих апельсинов.

В глубине комнаты находился письменный стол, за которым уже сидел Берия и беседовал с расположившимся против него Кобуловым. Меня поместили на стул рядом с Кобуловым, а слева, рядом со мной, — чего я сначала в волнении не заметил — уселся какой-то лейтенант. Эту мизансцену я точно описал в моем заявлении в правительственные инстанции... после ареста Берии.

Кобулов и Берия при мне обменялись репликами, как я полагаю, на грузинском языке. Затем, хотя было очевидно, что Берия только что выслушал сообщение Кобулова, тот разыграл комедию: официальным тоном он доложил: «Товарищ народный комиссар, подследственный Гнедин на первом допросе вел себя дерзко, но он признал свои связи с врагами народа». Я прервал Кобулова, сказав, что я не признавал никаких связей с врагами народа, а лишь назвал фамилии арестованных друзей. Помнится, я тут же добавил, что преступником себя не признаю.

Кобулов подготовился к тому, что я снова «поведу себя дерзко». Как только я подал свою реплику, Кобулов со всей силой ударил меня кулаком в скулу, я качнулся влево и получил от сидевшего рядом лейтенанта удар в левую скулу. Удары следовали быстро один за другим. Кобулов и его помощник довольно долго вдвоем обрабатывали мою голову — так боксеры работают с подвешенным кожаным мячом. Берия сидел напротив и со спокойным любопытством наблюдал, ожидая, когда знакомый ему эксперимент даст должные результаты. Возможно, он рассчитывал, что примененный «силовой прием» сразу приведет к моей капитуляции; во всяком случае, он был убежден, что я потеряю самообладание и перестану владеть своими мыслями и чувствами. Но очевидно, он не знал, что человек может потерять ориентацию в пространстве и не потерять ориентации в собственном внутреннем мире. Правда, до поры до времени...

Не помню точно, что именно на этой стадии «допроса» говорил Берия и как я формулировал свои ответы, но суть была все та же: меня обвиняли в государственной измене, а я решительно отрицал свою виновность в каких бы то ни было преступлениях.

Убедившись, что у меня «замедленная реакция» на примененные ко мне «возбудители», Берия поднялся с места и приказал мне лечь на пол. Уже плохо понимая, что со мной происходит, я опустился на пол. В этом выразилась двойственность в моем состоянии, о которой я уже упомянул: внутреннюю стойкость

я сохранил, но в поведении появился автоматизм. Я лег на спину; «Не так!», — сказал нетерпеливо кандидат в члены Политбюро Л.П.Берия. Я лег ногами к письменному столу наркома. «Не так», — повторил Берия. Я лег головой к столу. Моя непонятливость раздражала, а может быть и смутила Берия. Он приказал своим подручным меня перевернуть и вообще подготовить для следующего номера задуманной программы. Когда палачи (их уже было несколько) принялись за дело, Берия сказал: «Следов не оставляйте!». Если это был действительно приказ подручным, то можно высказать предположение, что у Берии были далеко идущие планы в отношении меня. (Впрочем, Берия не был оригинален. В утвержденной в конце XIX века германским кайзером Вильгельмом II «Инструкции о применении телесных наказаний к неграм Восточной Африки» имелся пункт: «Не оставлять следов!!!»).

Они избивали меня дубинками по обнаженному телу. Мне почему-то казалось, что дубинки резиновые, во всяком случае, когда меня били по пяткам, что было особенно болезненно, я повторял про себя, может быть, чтобы сохранить ясность мыслей: «Меня бьют резиновыми дубинками по пяткам». Я кричал, — и не только от боли, но наивно предполагая, что мои громкие вопли в кабинете наркома, близ приемной, могут побудить палачей сократить операцию. Но они остановились только когда устали.

То ли сразу, как только меня оглушили с помощью «боксерских приемов», то ли во время последующих избиваний Берия и Кобулов дали мне понять, чего именно они от меня хотят. Один из «намёков» звучал примерно так: «Учитите, что вы уже не находитесь в кабинете обер-шпиона, вашего бывшего начальника. Там вам уже не бывать!».

Оба глядели на меня с максимальной выразительностью, повторяя аналогичные недвусмысленные фразы, но, кажется, в тот раз они еще не называли М.М.Литвинова по фамилии.

Не получив от меня не то что «показания», но вообще какого-либо положительного ответа, Берия приказал меня увести. Вероятно, тотчас же на смену мне была приведена другая жертва. Берия торопился получить материал, порочащий М.М.Литвинова.

Тем временем ко мне применили новый прием, очевидно, в соответствии с разработанной методикой. Избитого, с пылающей головой и словно обожженным телом, меня, раздев догола, поместили в холодном карцере. Какое он производил впечатление, можно судить по тому, что, когда через некоторое время в соседний карцер привели другого заключенного, я услышал, как он спросил (мне показалось, что я узнаю голос моего заместителя): «Это что? Уборная?». Мой карцер скорей походил на предбанник...

Не могу утверждать, что карцер специально охлаждали, но мне представлялось, что это так. Мне даже казалось, что я уловил, откуда поступает холодный воздух. Пол был каменный. Я забрался в угол и встал на скамью, правда, тоже каменную. Размышлять в моем положении и состоянии было невозможно; да и задача, стоявшая передо мной, была ясна без размышлений: надлежало выдержать пытки, не оговорить ни себя, ни других. Дабы успокоиться и восстановить душевное

равновесие, я стал читать стихи. Читал Пушкина, много стихов Блока, большую поэму Гумилёва «Открытие Америки» и его же — «Шестое чувство». Вероятно, я читал и собственные стихи. Особенно благотворно действовало на меня чтение сонета Вячеслава Иванова, который я запомнил со студенческих лет.

Через некоторое время меня снова доставили в кабинет наркома. И снова два человека обрабатывали меня дубинками под личным наблюдением Берии. Я запомнил одну реплику Берии во время второго сеанса. Наклонившись надо мной, он сказал: «Волевой человек, вот такого бы перевербовать». Прекрасно зная, что я не шпион, не преступник, он подсказывал мне удобную форму самоговора: готовность «завербоваться» на работу в НКВД. Грязная выходка циничного субъекта! Тогда я не понимал, что Берия произнес стандартную фразу из набора штампов заурядного следователя того времени. Да и вообще все реплики Берии и до моего ареста и после него были удивительно мелкотравчатыми, примитивными.

В ответ на провокационное замечание Берии я изо всех сил, лежа на полу, выразил свое негодование и отвращение. Берия отвернулся. Подручные продолжали свою «работу». Я снова принялся кричать.

Не могу сказать, сколько длилась вторая экзекуция в кабинете наркома. Во всяком случае, убедившись, что я по-прежнему отказываюсь признать себя преступником и выполнить требование оклеветать Литвинова, палачи меня опять поместили в карцер. Я снова стоял раздетый на каменной скамейке и читал наизусть стихи.

Надеюсь, далекий читатель понимает, что я неохотно описываю свои муки и унижения и что я привожу различные неприятные детали, лишь будучи убежден, что рассказываю о приемах, примененных не ко мне одному. На основании многих признаков, да и со слов одного из следователей, можно утверждать, что меня пытались подготовить для участия в открытом процессе в качестве свидетеля обвинения или сидящего на скамье подсудимых помощника обвинителя. Следовательно, примененные ко мне приемы и методы могут дать представление о том, как велась подготовка тех процессов, тайна которых до сих пор до конца не раскрыта, несмотря на то, что уже появилась обильная литература.

Приблизительно тогда, когда меня вторично отправили в «холодную», я потерял представление о времени. Ни непосредственно после окончания серии пыток, ни позднее, спокойно размышляя, я не мог определить, как долго длилась эта первая серия: трое, четверо, пятеро суток? Я помню, что впервые возвращенный ненадолго в камеру я удивился, узнав, что миновали сутки. Кажется, был «утренний туалет» заключенных. Бывший полковник, оглядев меня (а «программа» еще далеко не была завершена), сказал: «Я бы и половины не выдержал!». Боюсь, что знакомство с моим опытом подорвало его стойкость. Но внешне он держался по-прежнему с большим достоинством; когда я рассказал ему о первой сцене у Берии, полковник заметил не без высокомерия: «Они, кажется, имеретинцы». В его устах это звучало так: «Обыкновенные разбойники...»

Второй мой сосед, в соответствии со своей ролью, советовал мне дать показания. Когда же я в полубеспамятстве лежал в неудобной позе на боку, бормоча про себя: «Ничего, ничего, ничего не понимаю...», я вдруг ощутил, что

на меня смотрят: наши койки разделял стол; низко наклонив голову, «порученец» из-под стола глядел на меня внимательно и слушал мой шепот.

Но в течение первых дней заключения я пробыв в камере только несколько часов. Меня водили, а потом тащили из кабинета в кабинет, где меня по очереди избивали и допрашивали разные следователи, обычно два-три человека, так как я стал оказывать сопротивление (примерно на второй день: в начале я растерялся, а под конец ослаб). Иногда случайно заходившие следователи принимались словом и делом помогать товарищам, которым попался трудный «объект».

Самым жестоким и длительным избиениям я подвергался в кабинете Кобулова. В памяти запечатлелись только отдельные сцены, ночное освещение, несколько склоненных надо мною лиц, шум голосов. Однажды в комнату вошел какой-то человек и, как мне показалось, хохоча, крикнул: «А, это Гнедин! Да его надо трижды расстрелять за его преступления, завтра же!». Был и такой момент: мне в бреду померещилось, что Сталин на портрете, висевшем над столом Кобулова, зашевелился; я обратился к нему с пылкой речью. Сильным ударом меня оглушили. Другой раз, когда Кобулов, дабы я не мог оказывать сопротивление, особенно сильно прижал сапогом мой затылок, я потерял сознание.

В одну из ночей, когда меня в очередной раз привели к Кобулову, он строго спросил: «Почему вы скрыли от следствия, что вы эпилептик?». Очевидно, у меня был нервный припадок, но я этого не помнил. Кто его знает, может быть, положительный ответ на этот вопрос избавил бы меня от дальнейших пыток; во всяком случае теперь, записывая этот эпизод, я подумал об этом.

Постепенно я потерял не столько способность, сколько самую возможность различать те или иные часы суток. В быту важнейшие вехи времени — это сон, пробуждение, прием пищи. Я не спал, есть мне не давали; кажется, я вовсе не пил в течение двух-трех суток; во всяком случае я не помнил, чтобы я хоть один раз за время «допроса с пристрастием» утолил жажду, да и вообще испытывал какие-либо физиологические потребности. Все происходившее со мной и вокруг меня стало одуряюще однообразным, приобрело какой-то призрачный характер, а мои поступки становились все менее мотивированными, хотя я и продолжал сохранять внутреннюю уверенность, а может быть, и маниакальную убежденность в том, что я выдержу. Как-то на рассвете, в маленькой комнате следователя Воронкова, я смутил моего мучителя, когда во время паузы опустился на пол. «Что вы делаете?» — воскликнул следователь, вероятно, решив, что я сошел с ума. «А вы сказали: либо пишите, либо ложитесь, вот я и лег...».

Однажды ночью, находясь в той же комнате, я услышал крики женщины из соседнего кабинета. Следователь лениво приоткрыл дверь. Видимо, его интересовало, кто из его коллег имеет дело с арестованной женщиной. Я же физически ощутил, как у меня зашевелились волосы на голове, «стали дыбом».

К концу третьих (или четвертых) суток следователь Воронков, основываясь на своем опыте, уже рассчитывал, что близится минута роковой для меня слабости. Конечно, тупым палачам был чужд психологический анализ. Это были — как говорят на заводах — «мастера-практики». На основании моего опыта — опыта жертвы палачей (меня пытали снова через год), я убежден, что

реакция человека на пытки поддается научному анализу и возможен точный прогноз. Я подумал об этом снова, когда познакомился с высказываниями известного физиолога Селье (да и с работами по психоанализу). Установлено, что при длительном воздействии одного и того же «стрессорного агента» организм вначале адаптируется (стадия резистенции), но затем, рано или поздно, достигнутая адаптация теряется (стадия истощения) и в итоге «наступает гибель».

Помню, как на рассвете в той же комнате с окнами во двор, мы со следователем сидели друг против друга, я в полубомороке на кончике стула, он, полусонный, на другом стуле, лениво поколачивая меня дубинкой по коленям. Когда я приоткрыл глаза, мне вдруг померещилось, что он хочет мне нанести особенно болезненный удар. И тут я испугался. Острый страх, испытанный мною в этот момент, был столь же неуместен и объективно не мотивирован, как и ранее проявленная готовность подвергнуться дальнейшим избиениям. И в том, и в другом случае мое поведение отражало потерю самоконтроля. И так, в пред-рассветный час я неожиданно для себя, а возможно, и для следователя, попросил дать мне лист бумаги. На поспешно поданном мне листе я написал несколько слов о том, что я допускал ошибки в моей работе, приносившие вред, понимаю это и готов об этом рассказать. Прочитав написанное мною, следователь тотчас же на моих глазах порвал бумагу. Затрудняюсь объяснить его поступок; возможно, что он не был полномочен принимать от меня такие собственноручные заявления, которые не подтверждали преподанную свыше версию обвинения и даже ее опровергали; возможно, что он ждал, что я все же сам напишу то, что требуется. В камере у меня вдруг возникло смутное опасение, что я написал несколько ясно звучащих фраз, но сколько я не напрягал память, я не мог, держа ответ перед самим собой, ни подтвердить возникшее опасение, ни отвергнуть его.

К счастью, ответ на этот мучивший меня вопрос не имел никакого практического значения. Час, когда следователь порвал мое заявление о «совершенных ошибках», остался у меня в памяти как момент шока, который способствовал тому, что я преодолел мгновенную губительную слабость. Именно мысль о том, что я на рассвете в кабинете следователя «закачался», придала мне стойкость при третьем свидании с Берией, которым завершилась серия пыток. Очевидно, Берия доложили, что я наконец теряю самообладание, и Берия возомнил, что он сумеет лично зафиксировать факт моей капитуляции и получить от меня продиктованные им же показания. Он просчитался.

Когда меня ввели, Берия, стоя, беседовал с Кубуловым. Меня поставили по другую сторону стола недалеко от знакомой мне вазы с апельсинами.

Когда не столь давно Берия и я сидели за таким же длинным столом для заседаний в бывшем кабинете Литвинова, он держался злобно или демонстрировал свою злобу. Видимо, это была привычная поза авантюриста, строившего свои расчеты на том, чтобы его боялись. Его позиция, когда я еще был или чувствовал себя свободным человеком, была для меня опасной. Теперь же, когда по обе стороны стола находились палач и жертва, моральной перевес был на моей стороне. Выражаясь фигурально, мы «уже познакомились» и как личности померились силой, и я выиграл этот поединок.

Авантюрист с поверхностной культурой не в состоянии до конца понять идейного человека, живущего интеллектуальной жизнью. Он чувствует это, и, стремясь приспособиться, придает своим манерам и речам интеллигентное обличье. Примерно так держался Берия на третьем допросе в его кабинете. Спокойно он справился у меня, понял ли я, наконец, что должен рассказать о своих преступлениях. Я дал ответ, который потом повторял в моих заявлениях, в первую очередь, на имя самого Берии. Я сказал, что обязан ему говорить только правду, я утверждаю, что преступником не являюсь, никаких преступлений не совершал; я желал бы понять, чего от меня хотят, я не понимаю происходящего.

Выражая готовность понять «происходящее», я, видимо, надеялся ослабить реакцию палачей на мой новый отказ выполнить их требования. Ведь в этот момент два человека меня поддерживали в стоячем положении на том самом месте, где меня впервые бросили наземь. Хорошо еще, что в моем омраченном сознании суматошные процессы мнимо спасительного торможения воли были слабее, нежели подлинно спасительный четкий и ясный сигнал: «Лживых показаний не давать!».

Все же этот эпизод — пример того, как я чуть-чуть не оступился. Проявление «готовности понять, чего от меня хотят» — иллюстрация того, как подследственные попадали в расставленные им капканы. Замученные люди легко делали роковой шаг от готовности «понять» к готовности «помочь», подтвердить ложные обвинения. Но, к моему счастью, и, пожалуй, к моей чести, мои слова о желании «понять, что здесь происходит» звучали для следователей неубедительно. Берия считал, что мое стремление «понять» ему ничего не дает. Он потерял ко мне интерес и собирался иным способом «оформить» мое дело и решить мою судьбу.

Последние слова, услышанные мною от А.П.Берии, были: «Такой философией (голос авантюриста, говорящего с интеллигентом) и провокациями (голос палача) вы только ухудшаете свое положение». Эта по сути стандартная фраза была и верна, и неверна. Не дав лживых показаний, я «улучшил» свое положение, так как меня не удалось включить в крупное дело о государственной измене. Вместе с тем угроза Берии «ухудшить» мое положение оправдалась в том отношении, что на протяжении всех лет моего пребывания в тюрьме, в лагерях и ссылке, я ощущал, что в моем деле есть некая авторитетная и неблагоприятная для меня резолюция.

После «напущения» Берии я был отправлен в камеру. По дороге меня отнесли в амбулаторию, где мое распухшее и кровоточащее тело смазали вазелином. Ни до того, ни после того я никакой медицинской помощи не получал.

В камере я никого не застал. Обоих соседей увели; одному моя участь должна была послужить уроком, другой получил новое задание.

Через сутки или двое меня разбудили на рассвете: «На допрос!». К тому времени спина, ноги, пятки представляли собой сплошную лоснящуюся и очень болезненную опухоль. Ни сидеть, ни стоять я не мог. В таком состоянии я был доставлен в тот самый маленький кабинет с окном во двор, где я, тоже на рассвете, чуть-чуть не капитулировал.

Воронков сидел за письменным столом: его одутловатое серое лицо выражало озабоченность, пожалуй, даже неуверенность. Следователь положил передо мной на маленький столик канцелярскую папку, в которую был вложен длин-

нейший — на многих страницах — «Протокол допроса Гнедина-Гельфанда Е.А., сына Парвуса, от 15-16 мая 1939 г.» (дата была совершенно произвольной). На высококачественной глянцевиной (наркомовской!) бумаге без единой поправки или помарки, четким шрифтом были отпечатаны вопросы, которых мне не задавали, и ответы, которых я не давал. Ни один протокол допроса, каких мне позже пришлось видеть немало, не имел такого аккуратного, законченного вида, как эта фальшивка. Я понял, что предо мной документ, предназначенный для представления в «высшую инстанцию».

Стоя на одной ноге, либо на носках и опираясь рукой о столик, я читал фальшивку, столь же лживую, сколь и бездарную.

Я запомнил только в общих чертах содержание «протокола от 15-16 мая»; я его видел всего лишь два раза: впервые — в описанном только что состоянии и вторично при ознакомлении с делом, вернее, с предъявленной мне его частью; но тогда я уже знал, что фальшивка потеряла всякое значение, и отведенное мне краткое время посвятил чтению документов, которые я видел впервые.

В особом разделе «протокола от 15-16 мая» содержались измышления о М.М.Литвинове, имя которого я безусловно не называл. Думаю, что его имя не фигурировало и в старых делах. Но теперь задача палачей заключалась именно в том, чтобы «собрать материал» против Литвинова, и ради этого и была составлена фальшивка. В ответ на «тонко поставленные» вопросы я будто бы постепенно признавался в том, что «знал об антиправительственных настроениях Литвинова» (примерно так; пишу, естественно, по памяти); я будто бы «подтверждал», что Литвинов, «исходя из антисоветских намерений провоцировал войну» и т.п. Составители «протокола» не пытались проявить изобретательность, сочиняя «состав преступления», они просто-напросто приписывали М.М.Литвинову те самые концепции и формулировки, которые участники больших открытых процессов приписывали себе или которые им были приписаны следователями. Это мое сразу сложившееся впечатление позднее подтвердилось, в частности, когда один из моих следователей отозвался о «протоколе от 15-16 мая» (при мне!) пренебрежительно: «Это повторение пройденного», а другой высказался еще определеннее: «Там ничего нет».

Из третьей части «протокола» вытекало, что я снабжал шпионскими материалами всех без исключения (буквально) иностранных дипломатов и журналистов.

Следователь потребовал, чтобы я подписал «протокол». Я назвал предъявленный мне документ фальшивкой, но снова оказался на опасной грани, снова со мной «чуть-чуть» не случилось того, что случилось со многими честными людьми. Я стал подыскивать приемлемые страницы с фактическими данными; такой, кажется, оказалась, первая страница; я поставил на ней и еще на некоторых страницах закорючки, подписываться я физически не был в состоянии. Потом я с ужасом отодвинул от себя чудовищный документ. Но, видимо, следователю нужно было только предъявить начальству хотя бы след того, что я прикасался к «протоколу». Он не стал настаивать на подписании всех страниц (как это полагалось) и отправил меня в камеру.

19 мая меня вызвали на допрос днем. В том же темном кабинете с окном во двор Воронков восседал за письменным столом с деловым видом, а мне пред-

ложил сесть за маленький столик в углу. Видимо, следователь собирался про- вести со мной «нормальную работу», либо опираясь на фальсифицированный протокол, либо, наоборот, временно о нем не упоминая. Но у меня был свой план действий. Я решил во что бы то ни стало опровергнуть фальшивку.

Я попросил дать мне бумагу. Воронков дал. Вероятно, на основании своего опыта он считал, что когда следователь, участвовавший в избинениях, потом обращается корректно с подследственным, тот сам старается не вызывать конфликта. Все же он стал около меня, чтобы тотчас же забрать у меня бумагу, если я стану писать не то, что следует. Я прибег к хитрости. Так как я по хорошо известным следователю причинам не сидел на стуле, а стоял, согнувшись над столиком и медленно выводил буквы, то и следователю, если он хотел читать то, что я пишу, нужно было стоять около меня очень долго. Я рассчитывал, что ему это надоест. И в самом деле, когда следователь увидел, что в начале моего заявления я обещаю «помочь следствию», «всемерно содействовать освещению интересующих его фактов» и вообще заверяю в своей искренности (я сознательно начал с длинной фразы), он отошел от меня и с убогавторненным видом уселся за свой стол. Тогда я продолжал примерно так: «а потому считаю необходимым заявить, что мне ничего не известно о преступной деятельности Литвинова, и что если бы даже Литвинов был заговорщиком, чего я не думаю, то он, как старый конспиратор, никогда бы не стал мне об этом рассказывать, и, следовательно, то, что говорится в «протоколе от 15-16 мая», не соответствует действительности».

Когда следователь получил иписанные мною листки, он, не говоря ни слова, нажал кнопку звонка, вызвал охрану и отправил меня в камеру. Больше я его никогда в жизни не видел. Но в постановлении о моей реабилитации в 1955 году, то есть через 16 лет, я обнаружил глухое упоминание о том, что согласно показаниям бывшего следователя Воронкова, он был «свидетелем» того, как меня избивали в кабинете Берии. О своей роли в моем деле он, очевидно, умолчал.

Мое заявление от 19 мая следователь не уничтожил. Я видел его в деле и неоднократно на него ссылался, разоблачая фальсификацию, доказывая и напоминая, что я с первых дней следствия неизменно устно и при первой возможности письменно отвергал и опровергал обвинения и клевету на меня и на других честных людей, прежде всего клевету на М.М.Литвинова.

Для того, чтобы мой опыт мог служить материалом для правильных обобщений, я должен сказать, что, по моему мнению, ко мне не были применены, выражаясь старинным языком, «пытки третьей степени» в полном объеме, я был поставлен в условия тяжкие, мучительные, в условия, как позднее деликатно выразился один следователь, «строгого режима», но ко многим своим жертвам сталинские палачи применяли еще более беспощадные приемы и в течение еще более длительного времени. Ведь в конце концов мне не сломали ребра и не отбили почки, а таких случаев было немало... Наконец, были люди, которые давали палачам более прямой, резкий и грубый ответ, чем я, оказывали яростное физическое сопротивление. Оно не спасало их не только от гибели, но, как правило, даже от формальной капитуляции в дальнейшем. Тем не менее, они уходили из жизни, как герои.

ПО ЗМЕИНОЙ ТРОПЕ

I. Допросы, «документация»

Несмотря на то, что одиночка представляет собой самую концентрированную и ощутимую форму изоляции человека от общества и мира, пребывание в такой подлинной темнице превратилось для меня в передышку. Мне удалось не сосредоточивать свое внимание на непосредственных опасностях, подстерегавших меня за порогом камеры.

В тюремной камере я размышлял и не испытывал страха. Но как только меня снова вызвали на допрос, меня охватил животный страх. Конечно, у меня были все основания бояться новых допросов: я уже знал, как трудно выдержать истязания, и понимал, что моя сопротивляемость ослабела, особенно из-за того, что многочисленные рубцы еще не затянулись.

Итак, после паузы меня в июне 1939 года вызвали на допрос, и я с ужасом ждал повторения истязаний. Первое впечатление как будто подтвердило мои опасения. Сидя в пустой комнате в ожидании следователя, я обнаружил, что потолок и стены обиты войлоком, звуконепроницаемым материалом. Значит, приняты меры к тому, чтобы происходящее в комнате не было слышно в коридоре. Я оцепенел. Съежившись на стуле в углу комнаты, я ждал появления следователей-палачей. Однако мне пришла на помощь счастливая ассоциация. Разглядывая обивку стен, я вспомнил, как в двадцатых годах, возглавляя охрану труда... в Народном комиссариате иностранных дел, я добился, чтобы стены машинных бюро были обиты материалом, глушащим звуки; позднее это стало обычным делом. Тут я сообразил, что нахожусь в стандартном помещении машинного бюро. По каким-то причинам оно временно превращено в кабинет следователя. Эта мысль помогла мне овладеть паническим состоянием, возникшим по случайному поводу. Механизм самоконтроля был пущен в ход.

Наконец явился следователь и с озабоченным деловым видом уселся за письменный стол. Передо мной было совершенно новое лицо. Я, конечно, не мог запомнить лица всех участников предыдущих дневных и ночных бдений, но у меня не возникало сомнений, что с этим старшим лейтенантом я встретился в первый раз.

Следователь Романов производил впечатление квалифицированного, хотя и не очень культурного человека, хорошо знакомого, если не с юриспруденцией, то во всяком случае с формами и правилами делопроизводства; он походил на военного интенданта средней руки. Худощавое лицо в чуть заметных рябинах не было неприятным, но вследствие нервного тика ноздря удлиненного носа часто подергивалась, а время от времени подергивался и глаз. Дело происходило до войны, трудно было отбросить мысль, что следователь расстроил свою нервную систему участием в специфических операциях следственного аппарата... Но я старался не замечать нервный тик у моего следователя подобно тому, как он делал вид, что не замечает кровоподтеки на лице у подсудимого.

С первой минуты Романов повел себя как, словно бы он лишь начинал следствие по моему делу, и до встречи со мной никто моим делом не занимался.

Я со своей стороны также не упоминал о том, что происходило до передачи дела Романову.

Насколько я помню, следователь начал серию допросов с формальных моментов, анкеты и т.п. В какой-то степени он повторил то, что уже проделал Кобулов при первой встрече. Затем он предъявил мне ордер на арест; он был подписан лично Берией и завизирован Вышинским. Эти подписи обязывали любого работника прокуратуры и следственной части рассматривать меня как избяченного крупного преступника. Кажется, я тогда не понял рокового значения такого ордера на арест. Я говорю «кажется», потому что теперь мне самому представляется неправдоподобной моя наивность. Сидя в одиночке, я подсчитал, что скоро истекут два месяца, срок, который, как я смутно помнил, установлен для предварительного следствия. Поэтому, когда меня вызвали на допрос, и следователь занялся чисто формальной стороной дела, в душе у меня затеплилась надежда, что, убедившись в моей невиновности, и в том, что даже пытками от меня нельзя получить ложные показания, руководители следствия оформляют его окончание... На самом деле, как я позже понял, формальности были связаны с тем, что предыдущий этап мог и не быть отражен в следственном деле; оно могло быть построено так, словно я до июня просидел без допросов, пока моим делом не занялся старший лейтенант Романов. Это предположение подтверждается тем, что, предъявив мне некоторые показания, следователь ровно через 10 дней после того, как он меня вызвал впервые, предъявил мне и обвинение. Получалось, что уголовно-процессуальный кодекс был соблюден, если... если игнорировать все, что происходило в течение первых недель моего пребывания во внутренней тюрьме.

Соблюдая какие-то формальные правила, следователь прежде всего прочитал мне те полученные против меня показания, которые были включены в справку, послужившую основанием для выдачи ордера на арест. Он мне этого не говорил и документа в руки не давал, но у меня сложилось на этот счет определенное мнение, так как я имел возможность, когда Романов вышел из кабинета, прочесть значительную часть документа. Вероятно, это входило в намерения следователя, вначале рассчитывавшего на основе своего опыта в других случаях, что я стану приспособлять свои ответы к тому, что я прочел. На сей раз он просчитался.

Документ, лежавший на столе у следователя, был напечатан на такой же высококачественной бумаге, как и фальшивка под названием «протокол допроса от 15-16 мая», о которой я говорил в главе о пытках. Это был документ, предназначенный для «высшей инстанции». Он не был озаглавлен и несомненно был составлен по какой-то стандартной форме. Сверху крупно была обозначена моя фамилия, указана занимаемая должность и была лишь одна дополнительная пометка: «сын Парвуса». Далее без всякого вступительного или объяснительного текста с красной строки следовало: «такой-то (фамилия и, кажется, бывшая должность давшего показания) показал...». Затем с красной строки снова: «такой-то... показал».

В документе, послужившем формальным обоснованием для выдачи ордера на мой арест, не было ни одного «показания», которое содержало бы какую-либо

конкретизацию облыжного утверждения о моей мнимой причастности к антисоветской деятельности. Вместе с тем, как позднее я мог обнаружить, в этот документ были включены не все «показания», которые ко времени ареста были подготовлены фальсификаторами и палачами. Я не мог объяснить себе, почему некоторые показания были использованы при оформлении решения о моем аресте, а другие — нет. Все эти частности не имели никакого значения для тех, кто принял решение изъять меня из жизни. (Очевидно, мою судьбу решали Берия и Молотов, возможно, что санкцию дал Сталин. Справку с «показаниями» могли составить уже после принятия самого решения об аресте. К тому же, по существовавшим тогда правилам для ареста советского гражданина достаточно было двух клеветнических показаний любого содержания).

Лишь одно «показание», включенное в документ для «высшего руководства», было недавнего происхождения и относительно подробным. То было «показание» бывшего советника и поверенного в делах во Франции Е.В.Гиршфельда. Уволенный из НКВД, кажется, в конце 1938 года, он был арестован в ночь на 1 мая 1939 года, о чем мне тогда кто-то рассказал. Чудовищные показания Гиршфельда были датированы 1 мая. Меня арестовали в ночь на 11 мая. Гиршфельд, происходящий из семьи революционеров-большевиков, детство провел за границей, в эмигрантской среде, а после Октября, как я себе представляю, уже в силу родственных и приятельских связей был своим человеком и доверенным лицом в среде старых революционеров, возглавивших государство. Я не был с ним близко знаком, но часто встречался с ним на работе и несколько раз у общих знакомых. Это был милейший человек, умница, доброжелательный, всегда живо заинтересованный своей работой.

Совершенно не важно, давал ли бедняга Гиршфельд сам свои показания, не выдержав пыток, или их просто сочинил следователь. Этот документ, в конечном счете, характеризовал только намерения Берии и его подручных. На полутора страницах рассказывалось, будто я остался после ареста Крестинского «главой всей антисоветской организации НКВД» и в качестве такого «руководящего лица» давал инструкции Гиршфельду. У палачей, пытавших Е.В.Гиршфельда, как и у тех, кто пытал меня, была одна и та же задача: любым способом опорочить еще находящегося на свободе или только что арестованных дипломатических работников и таким образом опорочить вместе с ними М.М.Литвинова. Последнее было, конечно, главной задачей или, выражаясь на языке режиссеров, «сверхзадачей».

Может быть, у обер-палачей было подобие плана, и они заранее решили связать имя М.М.Литвинова с делом Н.Н.Крестинского, несмотря на то, что Крестинский как раз был единственным обвиняемым, которому удалось на открытом процессе стойко защищать свою невиновность. Разумеется, следователи могли подсказать своей жертве — Е.В.Гиршфельду — фантастический вымысел, будто именно я, близкий сотрудник Литвинова, работая под началом М.М.Литвинова, был одновременно видным персонажем в антисоветской организации. Однако скорей всего у палачей и не было заранее подготовленной концепции, и бредовый замысел приписать именно мне важную роль в кругу вымышленных

заговорщиков родился, наверное, в мрачные предрассветные часы у потерявшей голову несчастной жертвы или у иступленных палачей.

Как бы то ни было, 1 мая 1939 года, когда М.М.Литвинов, предполагая, что вскоре будет объявлено о его отставке, демонстрировал присутствовавшим на Красной площади, а тем самым всему миру, что он на свободе, а я, не зная о предстоящей отставке Максима Максимовича, стоял на дипломатической трибуне и наслаждался зрелищем парада, — в «большом доме» на площади Дзержинского уже накапливались клеветнические показания против М.М.Литвинова и его сотрудников. Шла лихорадочная подготовка «дела врагов народа в НКВД». И хотя такое «дело», а тем более судебный процесс, сфабриковать не удалось, но погибло много невинных людей.

«Показания» Е.В.Гиршфельда не только вызвали мое крайнее возмущение, но и изумили меня. Не могу сказать, что меня больше удивило: дикая и оскорбительная версия о моей мнимой преступной деятельности или то, что мне приписали столь «видную роль» и влияние в призрачном мире, созданном фантазией палачей и их жертв. Хотя я и привык, исполняя свои служебные обязанности, мыслить и действовать самостоятельно, все же я никогда не считал себя принадлежащим к руководящему ядру НКВД. Иногда люди приписывали себе крупную роль в придуманной ими же антисоветской организации, думая, что к ним отнесутся с большим уважением и это пойдет им на пользу. Именно такую мысль мне подсказывал следователь.

Я не попался в этот капкан. Я решительно опровергал «показания» Е.В.Гиршфельда, указывая на их нелепость, как в фактической части, относящейся к нашим с ним встречам, так и в части, содержащей бредовые измышления на тему о моей антисоветской деятельности. Следователь записывал то, что я говорил. В тот период мне еще не давали возможности в протоколе в письменной форме зафиксировать свои отрицательные ответы. Тем не менее, на той стадии следствия было достаточно существенным и то, что следователю не удалось получить от меня в какой бы то ни было форме подтверждение показаний замученного и позднее трагически погибшего Е.В.Гиршфельда.

Подробного комментария заслуживает включенная в справку для оформления моего ареста краткая выписка из «сочинений» С.А.Бессонова. На открытом процессе Бухарина, Крестинского, Рыкова и других виднейших деятелей советского государства, организованном в марте 1938 года, С.А.Бессонов выступал в роли главного свидетеля обвинения. Нет сомнений, что, находясь под следствием, он написал тома, тем более, что превосходно владел пером. Поэтому я и говорю о его «сочинениях».

Среди несчастных людей, дававших показания на открытых процессах, С.А.Бессонов, к сожалению, выделяется как особой значительностью сыгранной им роли, так и особой обстоятельностью, по форме «складностью» своих показаний. Сказанное вовсе не означает, что ему и его следователям удалось составить документы, удачно скомпонованные и лишенные явных внутренних противоречий, не говоря уже о том, что они совершенно противоречили действительности. Я сам в качестве заведующего Отделом печати НКВД СССР, присут-

ствуя на процессе вместе с подведомственными мне иностранными корреспондентами, заметил противоречия в легенде, которую излагал на суде С.А.Бессонов; иностранные журналисты в своих сообщениях смаковали обнаруженные ими несуразности. Я отметил это в сводке телеграмм, прошедших через цензуру, которая посылалась членам Политбюро. Встретив в секретариате суда Вышинского, я счел нужным ему лично сказать, что иностранные корреспонденты сообщили своим редакциям о противоречивости и недостоверности показаний Бессонова. Прокурор, с высокой трибуны клеймивший «врагов народа», ответил мне чисто деловым образом: «Хорошо, я переговорю с Сергеем Алексеевичем», — так уважительно прокурор отзывался о главном обвиняемом...

И вот в тюрьме я получил возможность на собственном печальном опыте убедиться, что в показаниях Бессонова «были противоречия с действительностью». Но на сей раз я не имел возможности попросить прокурора СССР А.Я.Вышинского и по этому поводу «переговорить с Сергеем Алексеевичем». Дело Бессонова было закрыто, а мое только открылось на основании ордера, подписанного тем же Вышинским...

В отличие от Е.В.Гиршфельда, который наверно давал свои показания в полубредовом состоянии, если вообще он их давал, С.А.Бессонов, как я себе представляю, владел собой и слогом, когда составлял лживые показания, оговаривая себя и других. Но это вовсе не исключает того, что фактически Бессонов был вынужден играть порученную ему роль лишь потому, что не выдержал пыток.

Возможно, что будущий историк сосредоточит свое внимание на злоедейской роли С.А.Бессонова на суде, но я не в состоянии рассматривать его просто как соучастника палачей, я и в нем вижу жертву палачей.

Мое знакомство с С.А.Бессоновым относится к 1935-1937 годам, когда я был первым секретарем посольства СССР в Берлине, а он советником посольства. У нас были сложные отношения, корректные, почти дружеские, по временам более теплые, а по временам сухие, почти недоброжелательные. Он был недобрый человеком, но лишь в том смысле, что не делал добра и не считался с личными чувствами в своей государственной и политической работе. У меня есть некоторые основания предполагать, что он, находясь в Берлине, посылал через голову посла информацию В.М.Молотову. А между тем не раз бывало, что люди, выполнявшие доверительные поручения Молотова, изымались из жизни то ли при содействии Молотова, то ли ему самому «в поучение». В общем, талантливый, умный и образованный человек, каким несомненно был С.А.Бессонов, вошел в слишком тесный контакт с государственной адской машиной, и она его испепелила.

В силу ли некоторой симпатии его ко мне, потому ли, что когда готовился процесс, на котором Бессонов должен был выступить в качестве помощника обвинения, моя персона следователей еще не интересовала, но фактом является, что Бессонов меня пожалел. Он ограничился лишь выполнением той обязанности, которую, вероятно, должен был выполнить в отношении большинства сослуживцев и знакомых: он назвал меня соучастником вымышленных преступлений. Но тут же смягчил свои, правда, достаточно определенные заявления. Когда я прибыл в Берлин на свой пост, — показал Бессонов, — ему будто было уже

известно, что в редакции «Известий» я был «связан нелегально» с Бухариным и Радеком, и поэтому он, Бессонов, конечно (так и было сказано — «конечно»), сразу установил со мною такую же «преступную связь». Однако далее Бессонов добавил: «Но Гнедин был робок и ни в чем не участвовал». Возможно, что этой оговоркой Бессонов спас мне жизнь. Если бы он был категоричнее в своих измышлениях по моему адресу, и вообще если бы меня включили в группу лиц, арестованных по делу участников открытого процесса 1938 года, я, вероятно, был бы тогда же уничтожен вместе с ними.

Только оказавшись в тюрьме, в 1939 году, я мог оценить значение той чуть уловимой улыбки, которая мелькнула на лице С.А.Бессонова, когда в марте 1938 года он, сидя на скамье подсудимых, увидел меня среди журналистов, присутствовавших в Октябрьском зале Дома Союзов, где заседал суд. Ему было приятно, что его лживые показания не погубили меня. Встретив мой негодующий взгляд (роль Бессонова на процессе, естественно, вызывала возмущение), он отвернулся, наверное, подумав: «Ничего еще не знает, еще ничего не понял».

Узнав в тюрьме о показаниях С.А.Бессонова и испытав на себе методы следствия, я сумел также себе объяснить, почему с такой явной злобой, хищно смотрел на меня в кулуарах суда худой человек с ястребиным лицом и воспаленными глазами, о котором мне стало известно со слов моего заместителя, что он — следователь по делу Бессонова. Впрочем, когда я и мой заместитель попали в лапы НКВД во времена Берии, этот следователь, исполнявший важные поручения при Ежове, вероятно, сам тоже сидел в одной из камер Внутренней тюрьмы.

В прочитанной мне следователем справке было еще несколько выписок из протоколов показаний разных работников НКВД, давно арестованных, но они были совсем туманными и обрывочными. Все они были годичной и даже большей давности. Снова возникал вопрос: почему эти старые показания не послужили раньше поводом для моего ареста?

После того, как я решительно опроверг все наветы, в том числе и показания, послужившие формальным обоснованием для моего ареста, снова забрезжила надежда, что мое дело примет, хотя бы относительно, более благоприятный оборот. Размышляя в камере, я даже вспомнил свою первоначальную утешительную гипотезу: меня проверяют и убедятся в моей невиновности, руководители следствия поймут, что я им не нужен.

Как же тяжело было мне, когда следователь ознакомил меня с формулой обвинения! Через несколько дней после бесплодного допроса по поводу показаний, включенных в «документ для высшей инстанции», следователь предъявил мне грозный документ: мне было объявлено, что я привлечен к уголовной ответственности по статье 1-а Уголовного кодекса, то есть обвинен в государственной измене; осужденные по этой статье, как правило, подлежали расстрелу.

Это был страшный час моей жизни и не столько потому, что я оценил угрожавшую мне опасность, а потому, что я понял: мое государство окончательно отвернулось от меня, своего ни в чем не повинного и верного слуги.

Уже не помню точно, что именно я сказал следователю после того, как поставил свою подпись на бланке, содержавшем формулу страшного обвинения.

Я растерялся, но внешне владел собой. Во всяком случае, в первой реакции преобладало чувство удивления и даже обиды. Кажется, в этот момент я не стал опять доказывать свою невиновность и не почувствовал испуга, я просто выразил свое крайнее негодование. Следовательно, в свою очередь, не комментировал обвинение и не сопровождал его угрозами. Он вступил со мной в беседу. С нескрываемым любопытством он спросил: «А чего вы ожидали?». Я ответил, что считал неизбежным обвинение в халатности или в упущениях по службе, раз уж меня посадили в тюрьму. Помнится, я просто сказал то, что думал в эту минуту. Но мой ответ отражал позицию, которую я занимал на том этапе следствия: я решительно отвергал предъявляемое обвинение как нечто абсурдное, явно нереальное, но готов был согласиться, что невольно совершил какие-то проступки, из-за чего и лишился доверия правительства. Казалось бы, следовательно, предъявивший от имени высшей власти столь тяжкое обвинение, должен был возмутиться по поводу того, что государственный преступник называет свои действия упущением по службе. Но Романов продолжал мирную беседу; он пожал плечами и высказался в том смысле, что при сложившихся обстоятельствах нельзя было ожидать иной формулировки обвинения.

Затем следователь с присущим ему невозмутимым и деловым видом раскрыл папку и приступил к работе: прочел мне очередное клеветническое показание.

II. Допросы и подлоги. Победа

Я стал лучше разбираться в том, что со мной произошло и происходит и чего мне следует ожидать в дальнейшем, когда я узнал о трагическом опыте других жертв репрессий, находившихся под следствием. Встречи с ними могли повергнуть в смятение.

Меня перевели в общую камеру в середине 1939 года. Впечатления, полученные в тюремной камере, я обрисую лишь в тех рамках, в каких это необходимо для выполнения моей задачи: рассказа о самом следственном процессе.

Переход в новую камеру произошел при несколько драматических обстоятельствах. По крайней мере я так их воспринял. Ночью в мою камеру ворвались три человека и потребовали, чтобы я немедленно собрал вещи и покинул камеру. Они действовали с лихорадочной поспешностью. Я схватил в охапку одежду (меня подняли с постели), сунул в узел и книги из тюремной библиотеки (чего не должен был делать) и вышел в коридор. Тут конвойные меня подхватили и быстро поволокли в лифт, на одном из нижних этажей вывели в коридор и на каком-то повороте втолкнули в узкую каморку со вделанной в пол скамеечкой у задней стены. Это был обычный тюремный бокс, временное помещение для заключенных. Но я этого тогда не знал и решил, что меня перевели в карцер, и начинается новый этап пыток. В ту ночь над Москвой бушевала сильная гроза, я сидел в полудреме на скамейке и прислушивался к далеким раскатам грома. Во сне или наяву, в бредовом состоянии, мне мерещилось, что гроза вызвала тревогу во всем здании, а с нею связаны и перемены в моей судьбе.

В боксе я пробыл почти сутки. Затем меня перевели в общую камеру на том же этаже. Там находились два человека. Один из них, Михаил Борисович

Кузениц, с которым мне пришлось пробыть вместе больше полугода в этой и другой камере, позднее рассказывал мне, что его удивили при моем появлении два обстоятельства: то, что я вошел, улыбаясь, и то, что в узле, который я принес с собой, лежали не только мои вещи, но и книги. Я, действительно, сильно обрадовался, когда меня втокнули в сравнительно светлое помещение, где находились люди. Я понял, что мое положение не ухудшилось, а улучшилось. Да и камера, в которую я попал, как и все обычные камеры на первых четырех этажах Внутренней тюрьмы «всесоюзного значения», была гораздо лучше, чем камера на пятом этаже, который, как я уже говорил, представлял собой надстройку.

Не все услышанное мною в камере Внутренней тюрьмы было для меня новостью. Множество других трагических судеб и историй мне стало известно позднее. Но то, что я узнал в течение первых месяцев пребывания в тюрьме, навсегда запечатлелось в памяти. Эти впечатления неотделимы от воспоминаний о самом следствии летом 1939 года.

Рассказы о расстрелах перемежались с повествованием о пытках, сырых подвалах, следственном конвейере. Передо мной раскрылась картина массового террора, вернее, — техника массовых репрессий и казней. Я услышал рассказы о переполненных камерах в Бутырской тюрьме, особенно в ежовские времена, когда новопоступивший заключенный в ожидании места на нарах ютился около параша, когда лежащие на нарах переворачивались с боку на бок по команде одновременно, так как каждый в отдельности не мог повернуться. Многие из этого уже описано теперь в мемуарах...

...Таким образом, покинув одиночку, я вышел из замкнутого круга собственных испытаний и за несколько недель узнал об опыте не одного поколения подследственных и репрессированных граждан СССР. Недаром я как-то пошутил в камере, что мое пребывание в тюрьме — это самая интересная командировка в моей жизни, только слишком затянувшаяся. Увы, она длилась свыше шестнадцати лет, чего я не предвидел. С каждым рассказом, с каждой новой встречей новые страшные факты пополняли мой опыт. Весь этот тяжкий груз я нес с собой, идя на допрос.

Допросы в эти летние месяцы происходили, как я уже сказал, без физических страданий и оскорблений. Следователь даже делал вид, что относится ко мне человечно; однажды, когда он оставил меня одного, я подошел к окну и увидел расстилавшуюся внизу площадь Дзержинского. На мгновение мелькнула мысль: не разбить ли стекло и не выброститься из окна? Но это не входило в мои намерения, да к тому же я был зачарован зрелищем свободной жизни: какие-то люди здоровались и расходились в разные стороны, пробегали девушки и дети, я упивался игрой света и яркостью красок, волшебной картиной, какая может лишь присниться узнику. Вдруг раздался тихий голос старшего лейтенанта Романова: «Что, Гнедин, тяжело?». — «Тяжело живому человеку взперти», — несколько сбивчиво ответил я, увидев совсем близко подергивающееся от тика лицо следователя, обычно сидевшего в отдалении.

Была ли реплика следователя проявлением человеческих чувств? Ведь таким же мягким голосом, каким он спросил: «Тяжело?», и, может быть, в тот

же день следователь спросил меня: «Вы деньги получали?», на что я просто-душно ответствовала: «Нет еще, но надеюсь получить». Лицо следователя выразило удивление и даже смущение: я думал, что он осведомляется, получил ли я денежный перевод на тюремную лавочку, а он, оказываясь, поддерживая версию обвинения, вопрошал, получал ли я деньги «за антисоветскую работу». Мой ответ отнял у него охоту продолжать в этом духе, к тому же он, вероятно, задавая наглый и нелепый вопрос, лишь формально выполнял данное ему поручение.

А сейчас обращусь к светлым мгновениям, выпавшим на мою долю в тот период, о котором я здесь повествую.

Важнейшим событием лета 1939 года было то, что следователь, хотя и не прямо, а косвенно, сообщил мне успокоительные сведения о моей семье. Я узнал от него, что жена не уволена с работы и что редакция затребовала и получила изъятые при обыске в нашей квартире рукописи, принадлежавшие редакции журнала «Интернациональная литература», где жена работала. Следователь Романов совершил подлинно гуманный поступок, показав мне заявление жены, из которого, правда, я понял, что опечатаны две комнаты в нашей квартире. На мои взволнованные вопросы следователь отвечал: «Мы у вас комнат не занимали». Ударение делалось на слове «мы», и он говорил правду. Как я узнал через много лет, мою семью уплотнили не представители НКВД, а негодяи из окружения Молотова, хотя НКВД не имел никаких прав на эту квартиру.

В этот страшный период нашей жизни, в условиях самой мучительной и безотрадней разлуки, нас с женой связывала не только «сердечная нить» (как называли мы в юности это подаренное нам судьбой родство душ), но и свойственный нам обоим идеализм (не знаю, каким эпитетом сопроводить это слово: спасительный, опасный, наивный, упрямый, мужественный?). Во всяком случае, благодаря непреклонному идеализму и мужеству моей жены, летом 1939 года совершилось чудо. Это произошло во время тягостных для меня допросов. Я сидел как всегда на стуле в дальнем углу кабинета следователя; зазвонил телефон; подняв трубку, лейтенант Романов привычно назвал свою фамилию, когда же ему задали по телефону какой-то вопрос, на его лице отразилось крайнее удивление, он быстро взглянул на меня и после краткого колебания сказал: «Он сейчас у меня»; потом пробормотал какие-то не вполне определенные, но успокоительные слова. Закончив разговор, следователь несколько минут рассеянно переключивал бумаги, он явно не мог сразу возобновить допрос в прежних тонах. Я не сводил с него глаз. Наконец, он решился намекнуть на содержание происшедшего разговора; насколько помню, он сказал с деланной усмешкой: «Семья о вас беспокоится», или как-то иначе выразился. Это было уже несущественно; у меня не было никаких сомнений: я получил весть от моей жены, она на свободе и заботится обо мне.

Действительно, в этот момент моя жена была — можно сказать — у другого конца провода. Через шесть лет при свидании в лагере я узнал от нее, что в те дни ее обуяло особенно сильное чувство тревоги за меня, она каждый день простаивала во дворе у справочного бюро НКВД в очереди жен и матерей, добиваясь справки (а их не давали), пытаясь передать мне деньги (тогда еще денег для меня не принимали).

В один из таких дней моя жена, не в силах преодолеть мучительное беспокойство обо мне, пришла в расположенную в том же здании на Кузнецком мосту приемную наркома, как она тогда называлась; там на втором этаже находились кабинеты «дежурных секретарей». Она уже заходила туда не раз и заметила одного такого «дежурного». Молодой, вихрастый, конопатый, он, по ее словам, отличался от прочих чиновников «с оловянными глазами». Вероятно, и он ее заметил. Так или иначе, он выслушал ее взволнованную речь. Очевидно, в этой речи было что-то для него необычное при всей обычности жалобы: два месяца нет вестей о муже, не принимают передач. Моя жена требовала доказательств, что я жив.

«Конопатый» усмехнулся: «Жив, конечно, а если не принимают передачу, значит, не заслужил».

Жена в ужасе и в гневе от такой формулировки: «не заслужил», произнесла не совсем неожиданную для себя тираду. Повелительное ощущение, что она должна сию же минуту помочь своему мужу, продиктовало ей слова, странные с точки зрения чиновника НКВД. Она говорила, что дело мужа окружено тайной, что она ничего не может понять и вправе думать, что ее шантажируют: ей звонят по телефону какие-то люди, называясь следователями, — «а вдруг это какие-то авантюристы?» — ведь накануне была убита жена арестованного В.Мейерхольда, Зинаида Райх. Мало ли что грозит и ей, жене Гнедина, она не знает, как себя вести.

Чиновник слушал с изумлением и, как показалось моей жене, его позабавил этот маневр отчаянной женщины. Он спросил: «Чего вы от меня хотите?». «Позвоните в следственную часть». «Мы не имеем права!». «Скажите, что я требую, иначе буду думать, что его нет в живых».

«Конопатый» помолчал, потом резко сказал: «А ну, выйдите!».

Ей было неясно, выгнал он ее или следует подождать. Жена осталась ждать за дверью кабинета.

И вот наступила первая стадия чуда. Через минут десять чиновник приоткрыл дверь и тем же тоном сказал: «А ну, выйдите!»

Когда жена вошла, она увидела, что «конопатый» стоит за своим столом, ероша волосы и смеясь.

«Чему вы смеетесь?» — со страхом спросила она. «А я ведь туда позвонил».

«И что же?». «А он как раз там у следователя». «И вы сказали, что я здесь, у вас?». «Да».

Так наступила вторая стадия чуда: я был в кабинете у следователя в тот самый час, точнее в три часа дня 9 июля 1939 года, когда, уступив настояниям моей жены — незримым токам любви, — дежурный выполнил необычное требование и навел справки обо мне.

Сквозь тюремные стены, сквозь канцелярию НКВД, какой была «приемная наркома», при невольном посредничестве двух пособников палачей, благодаря силе чувства и силе воли моей жены, была восстановлена связь между нами, мы оба узнали, что мы оба живы.

Незачем объяснять, какое благотворное влияние оказывает на психику человека, брошенного в застенки, весть от любимого существа, стремящегося

протянуть руку помощи. Какое счастье в годы произвола убедиться, что твоя семья на свободе! Как важно было в безнадежности тюремной камеры, в злобешем кабинете следователя получить напоминание о том, что существует светлый мир, который ты любишь, и близкие люди, любящие тебя и верящие тебе! Я воспрянул духом и в перерывах между допросами твердил слова утешения: «Тяжко мне у бессонницы в лапах, но останусь самим собой... Необъятно пустыми ночами задыхаюсь у черной стены, но сквозь стены тоски и печали мне напевы дневные слышны... Протяните, товарищи, руки, я остался самим собой!».

Так говорил я себе в перерывах между допросами. Но как оставаться самим собой на допросе? Мою жену не обманула интуиция: хотя в те дни я не подвергался новым физическим мучениям, — моральные испытания в этот период были, пожалуй, самыми тяжелыми за все время следствия. Я чуть не попал в ловушку, оказавшуюся губительной для других невинных людей. И мне нелегко было вырваться из капкана. Приманкой в этой ловушке была возможность не только избежать пыток, но даже придаваться иллюзиям, будто возможны «нормальные отношения» со следователями.

Здесь снова идет речь о такой ситуации, которая объясняет поведение множества людей под следствием. Поэтом я ее и описываю.

Предпосылки для мнимого «взаимопонимания» и даже некоторой договоренности между следователем и подследственным были заложены в такой, можно сказать, небывалой ситуации, когда представитель власти, предъявлявший обвинение в политических преступлениях, и подследственный, их отвергавший, заявляли о своей принадлежности к одной и той же партии, о своей преданности одной и той же политике, одному и тому же правительству, и даже одному и тому же человеку — вождю партии. Вслед за пытками, вслед за ставкой на страх перед пытками, готовность арестованного советского гражданина найти общий язык со следователем была сильнейшим орудием в руках палачей и фальсификаторов.

Конечно, бывало немало и таких случаев, когда грубый циничный расчет побуждал подследственных заключить сделку со следователем. Но часто заключенные не могли отрешиться от мысли, что следователь в конечном счете работник государственного аппарата, а они сами недавно были работниками советского аппарата, и им казалось, что морок рассеется, если удастся объясниться со следователем, найти с ним «общий язык». Я не был вовсе лишен таких иллюзий. Наконец, огромное число заключенных старалось не озлоблять следователя, чтобы не повредить своей семье или чтобы установить с нею связь. Мог ли я после того, как получил через следователя сведения о семье, не задумываясь, вступить с ним в конфликт? Однако это становилось все труднее. Невозможно было защищать свою невинность, приспосабливаясь к требованиям следствия, избегая конфликта со следователем и последствий такого конфликта.

Закончив предъявление (верней «зачитывание») клеветнических показаний (позднее выяснилось, что то была лишь часть подготовленного материала), следователь стал задавать мне вопросы, касающиеся моей работы, моих подчиненных и вообще обстановки в НКВД. Повторялись, с большим вниманием к подробностям, но в корректной форме, вопросы, заданные раньше Кубуловым и

Воронковым. Однако раньше такой вопрос сопровождался избиениями, последствия которых я все еще ощущал. Как я теперь понимаю, — но тогда я не мог это понимать, — во время новых допросов в моем сознании образовалось подобие условного рефлекса: повторение вопросов, прежде задававшихся с применением пыток, воскрешало память о причиненных тогда мне страданиях, а это воскрешало и страх, — я терялся. Пока речь шла о клеветнических показаниях, я уверенно и не задумываясь давал отрицательный ответ. Но как отвечать на вопрос, от которого нельзя отделаться простым отрицанием? В камере и по дороге на допрос меня терзали сомнения: как же мне сегодня отвечать на вопросы следователя, касающиеся реальных фактов и событий, отвечать, не причиняя вреда другим людям и не причиняя себе непоправимого вреда, не дав повод для пыток, сохраняя по форме мирное отношение со следователем?

Морок кончился через несколько дней. Мне кажется, я и сейчас узнал бы то место, где прозвучал внутренний голос, принесший мне облегчение. Меня вели на допрос по коленчатому коридору в следственном корпусе «большого дома»; здесь два конвоира всегда особенно крепко держали меня за сведенные на спине руки, поддерживая, каждый со своей стороны, за локти; мой мозг сверлила все та же неотступная забота: как быть, как отвечать? И тут меня осенило: не надо каждый раз мучительно думать, какой дать ответ, не надо мудрить. Я буду говорить правду, обыкновенную, простую правду, говорить то, что я знаю и думаю. Ведь я не совершал никаких дурных поступков, мне ничего неизвестно о чьих-либо преступлениях, стало быть, я никому не могу повредить, точно отвечая на конкретные вопросы, и вместе с тем сохраню корректные отношения со следователем.

В детстве я не раз слышал от матери: «Лучшая ложь — это правда!». Как легко найти выход из самого сложного положения, если руководствоваться простыми правилами нравственности! Долгое время я так и понимал решение, принятое мною в коридоре следственного корпуса по пути на допрос. Это была действительно переломная минута, вернувшая мне самообладание и пресекавшая соблазн искать спасение во лжи, хотя бы и невинной. И все же это не было свободным решением человека, правильно понявшего суть происходящего и сделавшего продуманные выводы.

Я уже упоминал, что с самого начала между мной и следователем Романовым сложилось нечто вроде молчаливого «сговора»: и я, и он делали вид, будто не было предыдущего этапа следствия, пыток и фальсифицированного протокола. Моя готовность к подобного рода «договоренности» была тогда естественной: я мог предполагать, что предыдущий этап как бы аннулируется, поскольку палачи пытками ничего не добились. Но затем наступила другая стадия молчаливого «сговора»: следователь, предъявляя порочащие меня показания, делал вид, будто верит им, а я притворялся, будто верю в искренность его заблуждения, опровергая клевету, прикидывался, что надеюсь его переубедить. Впрочем, это не всегда было с моей стороны притворством, я в самом деле не потерял надежды, что мне удастся разорвать сети клеветы и оговора.

Потом наступила следующая, самая опасная стадия молчаливого «сговора»: следователь, требуя от меня конкретного ответа на прямые вопросы о дей-

ствительно происходивших событиях, о фактических обстоятельствах и о людях и их поступках, собирал материал для возможных лживых обвинений и фальсификаций, но делал вид, что старается изобличить меня и других людей в совершении подлинных преступлений; я же делал вид, будто и на сей раз считаю, что он просто заблуждается или введен в заблуждение, и мне надо, давая точные правдивые ответы, доказать, что я не участвовал ни в каких преступлениях, и что моя деятельность и деятельность моих сослуживцев была направлена на пользу государства. Но ведь следователь это прекрасно знал! Таким образом, молчаливая «договоренность» между мной и следователем была построена на обоюдном притворстве. Как же я надеялся, отвечая правдиво на отдельные вопросы, развязать узел лжи и фальсификации?

Доброжелательный читатель может сказать, что я увлекаюсь самокритикой и самоанализом: победителей не должны судить и они сами, ведь избранная мною тактика увенчалась успехом. Я защитил свою невиновность. Правильней было бы сказать, что мне удалось, прибегая к маневрам, пресечь возможные опасные и вредные их последствия. Это, действительно, удавалось немногим. Но ведь я сейчас рассказываю еще не о том, как я вышел невредимым из странствия по змеиной тропе пыток и провокаций, я веду рассказ о середине пути, о том опасном повороте, на котором правда превращалась в ложь. Правда могла превратиться в свою противоположность именно в такой обстановке, в которой фальсификация и произвол ничем не ограничены... Впрочем, следователя и его начальников абсолютно не интересовало существо проблем; им не было поручено и не было разрешено проявлять интерес к политическим вопросам, у них была простая задача: получить стандартные «показания» о примитивной «преступной деятельности». Но именно поэтому мой правдивый ответ, данный в общей форме, они могли бы попытаться произвольно обратить в ложь, изложенную ими в такой же общей форме. К счастью, до этого дело не дошло...

...Снова слышу голос доброжелателя: в чем, собственно, вы вините задним числом себя и других людей, попавших в застенки сталинского режима? Не считаете же вы, что все вы должны были лгать для того, чтобы опровергнуть ложь, или что нужно было молчать на допросах? Я не виню и не осуждаю, я стараюсь обрисовать обстановку, благодаря которой палачи и их подручные имели возможность, используя честность, доверчивость, неосторожность подсудимых, создать сотни тысяч фальсифицированных дел...

...В июле во время допроса в кабинет Романова явился человек в штатском, на вид довольно интеллигентный, но с неприятным, каким-то «взъерошенным» лицом. Злобно взглянув на меня, он отрекомендовался представителем прокуратуры. «Жалоб не имеете», — добавил он безапелляционным тоном и тотчас же принялся вместе со следователем составлять протокол проверки следствия. У меня не возникло никаких надежд или иллюзий, что прокурор поможет выяснить истину. Но все же я был поражен, когда он прочел вслух фразу из протокола, который он составлял: «Изобличен в том, что является шпионом Германии, Франции и Англии». Даже следователь счел такой нелепый набор лживых обвинений чрезмерным и тут же при мне предложил исключить одну из стран.

Прокурор дал согласие, причем ему было явно безразлично, какую страну вычеркнуть. То, что следователь внес поправку, и то, что я из своего угла подавал критические реплики, видимо, удивило представителя прокуратуры; он спросил вполголоса, но не очень заботясь о том, чтобы я не слышал: «Это кто? Это Шмидт или Гнедин?». Итак, прокурор, оформляя протокол надзора, даже не потрудился выяснить, чье дело он проверяет; для всех дел у него существовала одна и та же форма. А я понял, что он шел из кабинета в кабинет и «проверял» одновременно и мое дело, и дело моего бывшего заместителя.

Визит прокурора укрепил меня в моем намерении попытаться противопоставить фальшивкам как можно больше истинных фактов, свидетельствующих о том, что ни я, ни другие дипломатические работники никакой антиправительственной деятельностью не занимались. Поэтому меня не смутило, что однажды я застал в кабинете следователя стенографистку. Мне казалось желательным, чтобы в деле была новая стенограмма, уже продиктованная мною самим. И это было заблуждением: следователь не позволил стенографистке записывать мои высказывания по существу обвинения и в опровержение клеветы. Следователь наблюдал за тем, чтобы были застенографированы лишь мои ответы на вопросы, касавшиеся обстановки в НКВД, в партийной организации и отношений между отдельными людьми.

Я попытался сказать о преданности делу и о честности тех арестованных до меня моих друзей и сослуживцев, фамилии которых были упомянуты в фальшивке; но следователь пресек эти мои попытки, и произнес роковую фразу, врезавшуюся мне в память: «Что вы все говорите о людях, которых уже нет...». Моя реакция была столь выразительна, что следователь неуклюже поправился: «Я говорю, что их уже нет здесь, в Москве». Но я-то понял, что получил от следователя НКВД СССР известие о трагической гибели товарищей и друзей. Старший лейтенант Романов не случайно был осведомлен о судьбе бывших работников НКВД. Очевидно, он получил от начальства перечень моих арестованных друзей и знакомых, имена которых я заносчиво и неосторожно перечислил при первой встрече с Кубуловым; он затребовал их дела в поисках материала против меня и установил, что «этих людей уже нет». Горе, скорбь и ужас охватили меня в тот час. Вероятно, я был первым человеком, не принадлежавшим к кругу приближенных диктатора и палачей, который узнал, что дипломатические работники, арестованные в 1937-1938 годах, были уничтожены до наступления лета 1939 года. Известно, что даже справки, выданные родственникам после посмертной реабилитации этих товарищей, зачастую содержат неточные и недостоверные сведения об их кончине.

Возвращаясь к эпизоду со стенограммой. Мне пришлось подчиниться требованиям следователя, ведь он не навязывал мне в процессе диктовки те или иные формулировки или характеристики, а лишь наложил запрет на определенные темы. Я предупредил следователя и, помнится, указал в тексте, что все рассказанное мною можно найти в служебной переписке, протоколах партийных собраний, записях выступлений на заседаниях и т.п. Но следователю по каким-то чисто служебным соображениям хотелось предъявить начальству продиктованную мною стенограмму... Стенограмма содержала подлинные, малозначительные фак-

тические данные, можно сказать, из истории центрального аппарата НКВД СССР. Но когда мне ее предъявили в перепечатанном виде, оказалось, что в нее вставлены слова, которых я не произносил, большей частью эпитеты такого рода: «антисоветские» (знакомства, намерения), либо «в антисоветских целях» (встречались, поддержал точку зрения) и т.п. Заполучив перепечатанную стенограмму в руки, я на последней странице написал точно и ясно, что указанные слова и эпитеты вставлены следователем, что мне ничего не известно об антисоветских намерениях или поступках названных мною сотрудников НКВД, и такая их характеристика исходит от следователя.

До этого дня я на допросах у старшего лейтенанта Романова не имел возможности письменно опровергнуть тезис обвинения. Когда же я изловчился, наконец, это сделать, то последствия были такие же, как и тогда, когда я в кабинете Воронкова в письменной форме опроверг фальшивку. Следователь меня отослал в камеру и больше я его не видел. Не знаю, сами ли они отказывались от «безнадежного клиента» или их устранение носило характер служебного взыскания... Так или иначе снова произошла смена следователя.

Если вернуться к сравнению с ловушкой, которое я употребил, поясняя, что значили «нормальные отношения» подследственного со следователем, то обо мне можно сказать так: «наживку я съел» — нормальные отношения со следователем сохранял, но с «крючка сорвался» — ложных показаний не дал, клевету опровергал.

Больше недели я днем и ночью со страхом ждал вызова на допрос; я ведь мог предполагать, что мою надпись на стенограмме сочтут проступком, который требует наказания. На этот раз случилось иначе. В августе, то есть на четвертый месяц следствия, меня вызвал новый, четвертый, а если учесть допросы у Кобулова и Берии, то минимум шестой следователь. Это был совсем приятный, подтянутый и корректный лейтенант лет тридцати. Он по форме отрекомендовался (очень жалею, что не запомнил его фамилию) и сообщил, что будет вести мое дело. Однако по причинам мне неизвестным, он не стал моим постоянным следователем, и у нас с ним состоялось только несколько встреч. Прежде всего расскажу о драматическом эпизоде: об очной ставке не с кем иным, как с Михаилом Ефимовичем Кольцовым.

В течение лета я постоянно, на допросах и в заявлениях, подаваемых из камеры, настойчиво требовал дать мне очную ставку со всеми, кто давал против меня показания. Требование очных ставок в любое время и в любой форме и ссылка на то, что очных ставок не было, в дальнейшем фигурировали во всех моих жалобах и заявлениях. Но очной ставки с Михаилом Кольцовым я в августе 1939 года не мог требовать, так как мне еще не было известно, что он дал против меня показания. На одном из допросов Романов спрашивал меня о моих отношениях с М.Е.Кольцовым и встречался ли я с ним. Я припоминал наши встречи (мы не были в близких отношениях). Когда же следователь спросил меня, виделся ли я с Кольцовым во время моего пребывания за границей, я припомнил две встречи и с излишней аккуратностью рассказал о них.

И вот однажды, когда я в относительно спокойном настроении сидел в кабинете нового следователя, туда вошел его начальник — черноволосый и чер-

ноглазый капитан Пинзур, с которым у меня позднее, в октябре 1939 года, состоялась «мирная» беседа, а в июне 1940 года — страшная и мучительная для меня встреча в новом застенке.

Капитан весело сказал мне: «Вы просили очной ставки с Кольцовым?». Я отвечал ему в тон: «Я не просил, но считайте, что сейчас попросил». После чего мы прошли в другой кабинет, очевидно, принадлежавший следователю, ведомому делу М.Е.Кольцова.

Один из следователей сел за широкий стол, двое стали по бокам; кажется, в комнате был еще один военный. Меня посадили на стул с той стороны, с какой мы вошли; недалеко от противоположной двери пустовал стул, приготовленный для М.Е.Кольцова. Я с волнением ждал его появления. Он был арестован примерно за полгода до моего ареста, и я на основании тюремного опыта считал возможным, что были верны распространившиеся сразу после исчезновения Михаила Кольцова слухи о его расстреле. Поэтому я радовался, что он по крайней мере жив. Мне приходилось видеть М.Е.Кольцова грустным и озабоченным, но его лицо всегда было оживлено игрой ума, а в глазах искрилась ирония. Когда конвоиры ввели Михаила Ефимовича, он кинул испуганный взгляд в сторону следовательского стола, потом повернулся лицом ко мне, и на мгновение мне почудилось, что я вижу прежнего Михаила Кольцова, только бесконечно усталого. В самом деле он, казалось, не потерял чувства юмора, ибо с грустной улыбкой проговорил, глядя на меня: «Однако, Гнедин, вы выглядите... (пауза и усмешка) ну, совсем как выгляжу я». Этим было сказано очень много и в переносном, и в прямом смысле, ибо, приглядевшись, я заметил, что у Михаила Ефимовича — вид тяжело больного человека. Я отозвался какими-то приветливыми словами, он хотел на них откликнуться, но тут следователи, увлекшись наблюдением за столь любопытным зрелищем, как наша встреча, опомнились и приказали нам замолчать; как бы щелкнул бич и нас, образно выражаясь, затолкали обратно в наши клетки. Вот тогда я понял, что М.Е.Кольцов изменился сильнее, чем даже можно было судить по наружному виду. Известно, что это был мужественный и необыкновенно инициативный человек. Теперь передо мной был сломленный человек, готовый к безотказному подчинению. Он всегда носил роговые очки и, вероятно, и на допросе был в очках, но в воспоминаниях о нашем последнем свидании его лицо мне представлялось таким, словно он был без очков и плохо видел, что происходит вокруг него. Я никак не мог избавиться от такого впечатления, хотя понимаю, что оно ложное, ведь вначале он хорошо разглядел меня и даже пошутил по этому поводу. Впрочем, он больше не смотрел на меня и добросовестно придерживался правил очной ставки, к которой был подготовлен, но только частично.

Сначала были заданы формальные вопросы, знаем ли мы друг друга, не находимся ли во вражде. На первый вопрос, заданный Кольцову: «Признаете ли себя виновным?», он сразу, можно сказать, привычно ответил утвердительно, даже пространно. Затем этот же вопрос задали мне. Я молчал. То ли внезапный страх, то ли смутный защитный рефлекс мешал мне в присутствии новых следователей и М.Е.Кольцова, признавшего себя виновным, — продолжать свой спор со следователем. Я молчал. Пауза длилась долго, капитан не столько угрожающе, сколько подбадривающе (как заставляет ребенка признать свою вину)

повторил несколько раз: «Ну, давайте, говорите!». Наконец, следователь М.Кольцова махнул рукой и задал новый вопрос Кольцову примерно в такой формулировке: «Расскажите о ваших преступных связях с Гнединым». М.Е.Кольцов изложил ту вымышленную версию, которую я позднее прочел в выписке из его показаний. Он говорил не очень длинно, но обстоятельно, и, как мне кажется, точно в тех же выражениях, в каких эта выдумка была записана в протокол следователем, то есть Кольцов как бы повторял ее наизусть. Он заявил, будто еще в тридцатых годах на квартире тогдашнего заведующего Отделом печати НКВД СССР К.А.Уманского группа журналистов и дипломатов затеяла «антиправительственный заговор» и что среди присутствующих, «кажется», был и Гнедин. Тут я обрел дар слова. Правда, мне не хотелось грубо в лицо обвинить измученного Михаила Ефимовича в клевете, поэтому, повторяя его обороты, я сказал, что ему «кажется, изменила память» и затем подробно опроверг «показания» Кольцова, в частности, указал и на то, что я в те годы вообще не бывал на квартире К.А.Уманского. Кольцов, молча, скрывая волнение, меня слушал. (Напомню читателю, что известный дипломат К.А.Уманский, на квартире которого якобы состоялся антисоветский сговор, не был арестован, он в день нашей очной ставки с М.Е.Кольцовым был советником или уже послом в США, а после его трагической гибели в Мексике состоялись торжественные похороны в Москве).

Затем мне предложили рассказать о встрече с М.Е.Кольцовым в Берлине. Когда я кратко ответил, от меня потребовали, чтобы я изложил подробнее содержание беседы. М.Е.Кольцов не оспаривал мой рассказ, ничего порочащего не содержащий, но взволновался, когда его следователь подчеркнул, что мы говорили о деле маршалов. С тревогой, пожалуй, с мольбой, как бы прося подтвердить его слова, он сказал следователю: «Но ведь к заговору военных я отношения не имел». Видимо, Михаил Ефимович боролся против попыток связать его с военными, хотя, вообще давал требуемые показания. Не могу поручиться за точность, но среди историй, передававшихся из камеры в камеру, был и рассказ, будто М.Кольцов «подписал» и дружески советует соседям по камере не ставить себя под удар, создать скромную «концепцию» и без промедления изложить ее следователю, чтобы спасти свою жизнь. Кольцов не проводировал — я решительно отвергаю такое предположение; но возможно, что Михаил Ефимович сделал — если угодно — разумные выводы из того, что знал (а знал он очень много) о методах сталинского аппарата и трагической судьбе тех, кто сопротивлялся. Из выписки, вложенной в мое дело, можно было усмотреть, что версия, которую М.Е.Кольцов не оспаривал, касалась мнимой его заговорщической деятельности совместно с когда-то близким к Сталину бывшим заведующим отделом ЦК Стецким.

Наша очная ставка закончилась в довольно беспорядочной обстановке: я настойчиво объяснял, что мы при встрече были огорчены делом маршалов лишь потому, что были возмущены их изменой, он подтверждал это и снова говорил о том, что к делу военных непричастен. Тут вызвали конвоиров, и нас быстро вывели из кабинета через противоположные двери, так что мы не успели проститься.

Протокол очной ставки был составлен с развязностью, присущей фальсификаторам. Мое молчание, когда от меня требовали признания виновности, было, по пословице, истолковано как «знак согласия»: в протокол вставили короткое слово — «признаю»... Моя вежливая по отношению к Михаилу Кольцову фраза была повторена в извращенном виде: «Кажется, Кольцов ошибается», но вся моя аргументация и опровержение фактов не были приведены. О нашей встрече в Берлине и содержании разговора при встрече было сказано коротко и не очень злобно.

Когда я, подписывая протокол очной ставки с М.Е.Кольцовым, старался — в последний раз за все время следствия — не озлоблять следователей, то, помимо страха, некоторую роль сыграла надежда, что благожелательное, даже уважительное отношение ко мне тогдашнего молодого следователя скажется благоприятно на моем деле. Это он в корректной форме обратил мое внимание на противоречие в моих ответах относительно моего заместителя. Допросы в кабинете этого следователя имели характер свободной беседы, да это и не были допросы, в комнату заходил приятель следователя, разговор шел о предметах, не имевших отношения к делу, если не считать «относящимися к делу» их рассказы о том, как я сохранил свою молодость и чем в жизни интересовался. Тогда-то — уже после очной ставки — следователь и произнес неосторожные слова: «Но ведь в вашем деле ничего нет!». На это я ответил: «Если вы это поняли, то как настоящий советский следователь должны доложить об этом начальству».

Во время нашей — как оказалось — последней встречи с ним следователь внезапно сказал мне: «Я видел вашу жену, она здорова»; он даже добавил несколько слов о том, как она хороша. Я был счастлив и впервые на допросе не сдержал слез.

Прошли годы, и я узнал от жены, что следователь вызвал ее по телефону в отдел пропусков НКВД СССР, но когда она туда явилась, он, выйдя с ней на улицу, сказал, что надобность в разговоре с ней миновала. Огорченная, она спросила: «Значит, вы мне о нем ничего не скажете?». Он ответил: «Ну что же, мужик он хороший». Своеобразное признание в устах следователя по делу о государственной измене, присутствовавшего при описанной мною очной ставке!

По сегодняшней день я не знаю, было ли доброжелательное поведение этого моего следователя в августе 1939 года проявлением его личной порядочности или отражало временное улучшение в ходе моего дела. Вероятно, верно и то, и другое. Правда, трудно себе представить, чтобы именно накануне, чуть ли не в дни подписания договора с Риббентропом, руководители следствия по делу сотрудников снятого с поста М.М.Литвинова были готовы облегчить их участь, в частности, мою. В октябре, как я расскажу, действительно наметились перемены в характере следствия по моему делу. Да и то на короткий срок. Впрочем, на протяжении многих лет порой создавалось такое впечатление, что попытки или намерения облегчить мою участь пресекались кем-то всесильным; это мог быть Берия, мог быть и Молотов.

В сентябре 1939 года, после перерыва в допросах мое дело стал вести новый следователь, даже формально уже пятый за пять месяцев. Это был безобидный исполнитель, малообразованный младший лейтенант Гарбузов. В то время ему было поручено подготовить мое дело для оформления по статье 206-й

УПК, то есть подготовить окончание либо видимость окончания следствия; вероятно, его и не собирались прекращать.

16 октября 1939 года следователь вызвал меня днем и дал мне для ознакомления мое «дело». Это не было подлинное следственное дело, а папка с частью документов к нему относящихся; там не было таких формальных документов, какие все же и тогда обычно имелись во всех делах, например, обращений следственной части к прокуратуре о необходимости продлить следствие после истечения двухмесячного срока и многих других. Не было ни одного из моих многочисленных заявлений, поданных из камеры через начальника тюрьмы. Но мое собственноручное заявление, написанное после пыток и опровергавшее фальшивый протокол, я, к своему удовлетворению, обнаружил в предъявленной мне папке. Зато стенограмма, составленная на допросе у Романова, была вложена в копии, но без моей собственноручной записи, опровергавшей вставку следователя. Поэтому я прежде всего сделал новую запись на копии стенограммы, гласившую: «На оригинале стенограммы мною сделана была следующая запись...». Далее следовало повторение той приписки, о которой я говорил.

В деле находились выписки из показаний, о которых я рассказывал. Другие выписки содержали краткое, подчас случайное, упоминание моего имени. Положили в мое дело выписку из протокола допроса бывшего генерального секретаря НКВД Э.Е.Гершельмана, но по ошибке: в протоколе был упомянут мой однофамилец Марк Гельфанд (он так и не был арестован).

Я обнаружил в папке и два документа, составленные, когда я еще был на свободе, людьми тоже бывшими на свободе.

Один из них — грубое, похожее на пародию заявление (кажется в ЦК) бывшего помощника военного атташе в Берлине Клименко. Заявление пестрило руганью по адресу дипломатических работников посольства, а обо мне было сказано кратко и выразительно: «Если (такие-то и такие-то) сволочи, то Гнедин — трижды сволочь!». Такой документ тоже лежал в деле в качестве улики...

Более обстоятельным, но, пожалуй, не менее отвратительным, было направленное в ЦК задолго до отставки М.М.Литвинова коллективное заявление референтов моего отдела. Мои сотрудники в ту пору, когда они ежедневно со мной встречались, решили «сигнализировать» Центральному Комитету, что заведующий Отделом печати несомненно «был связан с врагами народа»; на полутора или двух страницах (очевидно, отпечатанных машинисткой моего отдела) повторялись все те стандартные обвинения, которые тогда выдвигались против лиц, чей арест ожидался или состоялся.

Ознакомившись с документами, собранными в папке под названием «Дело №... Гнедина-Гельфанда Е.А.», я тотчас же заявил, что желаю внести в протокол об окончании следствия ряд заявлений. Следователь, этого ожидавший, отослал меня в камеру.

Вечером меня вызвал упомянутый мною капитан Пинзур, возглавлявший группу следователей или секцию в Следственной части НКВД СССР. Выслушав мое требование внести в протокол об окончании следствия мои опровержения клеветы и заявления о невинности, капитан затеял со мной мелочный спор. Я

держался твердо и даже запальчиво. Так, заметив, что он готов в крайнем случае допустить, чтобы я опроверг некоторые из пунктов обвинения, я привел анекдот о паштете «пополам из рябчика и лошади» и заявил, что не согласен, чтобы в моем деле правда потонула во лжи. Он не остался в долгу и напомнил мне анекдот о человеке, который, желая сэкономить деньги на свою телеграмму, постепенно вычеркивал все слова из приготовленного текста. Я подтвердил, что это именно я хочу сделать с предъявленными мне ложными обвинениями. Станным был этот ночной спор между избитым подследственным и капитаном следственной части, этот обмен анекдотами в застенке, где людей пытали и где над ними так издевались... Поистине — гротескная сцена!

Весьма важными были слова, сказанные капитаном, когда я настаивал на фиксации в протоколе моего заявления, опровергавшего клевету на М.М.Литвинова. Несомненно, имея на то разрешение, капитан Пинзур сказал многозначительно: «Да кто же в этом доме стал бы в чем-либо обвинять Литвинова!». Как будто не в этом доме меня, и не одного меня, совсем недавно пытали, требуя показаний против Литвинова...

Итак, «дело Литвинова», усиленно подготавливавшееся в мае и июне 1939 года, было прекращено в октябре 1939 года. Здесь не место для комментариев по этому поводу; думаю, что мое свидетельство достоверно и представляет исторический интерес.

Чем дальше длилась наша полемика с капитаном, тем более крепла моя уверенность, что на данном этапе я могу выиграть спор. И, действительно, поздно ночью в протокол от 16 октября (о мнимом — как оказалось — окончании следствия) я вписал собственноручно мое заявление, в котором я указал, что никаких «вредительских» или «шпионских директив» от М.М.Литвинова не получал, никаких сведений об его «антиправительственной деятельности» не имел и не мог иметь, с Радеком и другими лицами, поименованными в показаниях, «в преступной связи не состоял», никаких преступлений не совершал.

То, что я в письменной форме опроверг обвинение во всем объеме и по разделам, было в те времена редкостью и казалось многообещающим событием. Поэтому я здесь и не ограничился простым упоминанием о том, что я себя не признал виновным, а привожу всю формулу отказа, которую я не раз воспроизводил в своих бесплодных обращениях в различные инстанции.

Я прошел по змеиной тропе, где на каждом шагу мог погибнуть от ядовитого укуса или задохнуться в черном кольце, и вышел невредимым, готовым продолжать странствие. Предстоял долгий, тяжкий путь. Долгий — не только потому, что лишь через 16 лет я вернулся к семье и друзьям «на большую землю». Долгим оказался путь к новой душевной ясности.

ОПЫТ «ПСИХИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ»

К концу первого полугодия пребывания в следственной тюрьме надежды на то, что мое дело будет прекращено, казались вполне обоснованными. Я рассказал своему соседу по камере М.Б.Кузеницу, что мне удалось внести в протокол об окончании следствия подробное заявление о моей невинности. Мой

друг провозгласил: «Евгений! Ничего подобного еще не бывало. Твое дело должно быть прекращено!». Михаил Борисович провел два с половиной года под следствием, сидел в различных тюрьмах, охотно общался с людьми и, будучи человеком наблюдательным, ясно представлял себе механизм репрессий. Поэтому Кузнец был далек от наивного оптимизма. Тем убедительнее была для меня его оптимистическая оценка хода моего дела.

Этот измученный человек сохранил отзывчивость к страданиям товарищей и способность логически мыслить. Сидя рядышком на его койке, мы шептались, стараясь трезво и всесторонне оценить положение. С нетерпением ждали мы предвестия благополучной развязки. Вскоре наши расчеты подтвердились.

Накануне октябрьских праздников пришли конвоиры и отвели меня в канцелярию, где было несколько письменных столов, около которых стояли и сидели чиновники в форме НКВД; там было так тесно, что для меня нашлось свободное место лишь на кожаном диване, где я и уселся в понятном волнении (обычно подследственный либо стоял, либо сидел на краешке стула в углу).

К маленькому столику подле дивана подсел незнакомый лейтенант с бесцветным лицом канцеляриста, загруженного делами. Он скороговоркой задавал вопросы и тут же читал мне вслух мои ответы. Ответ на первый вопрос гласил: «Виновным себя не признаю». Второй вопрос, а тем более заготовленный следователем ответ, были для меня неожиданными: меня спрашивали, не оказывал ли следователь на меня давление; лейтенант тут же записал утвердительный ответ. Более того, таким же деловым тоном он предложил мне формулировку, в которой прямо говорилось о «применении физического воздействия». Я сказал, что можно снять слово «физическое», достаточно указать, что на меня пытались оказать давление, добиваясь признания в несовершенных преступлениях.

Казалось бы, странное, даже недостойное поведение: мне дают возможность обжаловать применение пыток, а я сам выбираю туманный оборот речи! Конечно, казалось то, что я был терроризирован, но все же я исходил из тревожных соображений: меня могли провоцировать (а это бывало); жалуясь на «физическое воздействие», я мог навлечь на себя более жестокие пытки, если не самое худшее. Ведь я понимал, что в аппарате никто не станет раскрывать секреты следственных методов. Да к тому же «физическое воздействие» ко мне применяли нарком Берия и начальник особой следственной части НКВД СССР Кобулов. Впрочем, и независимо от высокого ранга палачей чиновник, составивший протокол, вовсе не собирался выяснять, как случилось, что были применены «незаконные методы» следствия — пытки. Наоборот, он должен был записать в протоколе, что ко мне применялись усиленные методы воздействия, узаконенные Сталиным. Таким образом как бы фиксировалось, что руководители следствия по моему делу ничего не упустили, постарались на славу.

Вообще обстановка, в которой происходила эта «проверка» хода моего дела, напоминала сцену допроса в романе Кафки «Процесс»; в комнате было полно людей и было так шумно, что мы с моим собеседником плохо друг друга слышали. Чиновник, ничего не знавший о моем деле, положил бланк на край столика и наскоро составлял по поручению начальства протокол в такой форме,

в какой он мог бы понадобиться, если бы дали команду закрыть мое дело. Это и было для меня самое важное.

Но этот протокол не понадобился. Была дана совсем другая команда...

На праздники меня не освободили и после праздников — тоже. Я старался представить себе, сколько дней должно пройти после праздников, пока следственный аппарат снова заработает; я принимал в расчет и то, что дела могут лежать без движения, пока высокое начальство не наложит резолюции. Во всяком случае я понимал, что мое дело подготовлено «для доклада», а между тем в деле находились два итоговых документа, в которых зафиксировано, что я не признал себя виновным и опровергал ложные обвинения.

Мои расчеты относительно темпа прохождения дел были близки к действительности. Дней через десять после праздников я убедился, что мое дело, наконец, доложено начальству и аппарат получил надлежащие указания. 19 (или 17) ноября 1939 года меня вызвали на допрос.

Прежде чем приступить к рассказу об этом по новым причинам мучительном допросе, я хочу — в дополнение к тому, что я уже говорил в предыдущих главах, сказать еще несколько слов о психологии жертв пристрастного следствия.

Объясняя, почему я уклонился от того, чтобы в протоколе прямо записать, что меня избивали, я сказал, что исходил из трезвых соображений. Но ведь вопросы застали меня врасплох, протокол составлялся наскоро, какие же тут могли быть «трезвые мысли»? Я должен был реагировать быстро и, стало быть, я по интуиции выбрал такую осторожную тактику, к какой, возможно, прибег бы и по зрелому размышлению. Не странно ли: мгновенно, интуитивно и вместе с тем трезво, предусмотрительно?

В обстановке беззакония, когда угроза, порой смертельная, возникала неожиданно, немотивированно, каждый раз в новом обличьи, когда нельзя было опираться на какие-то стабильные правила, на логику, — защитная реакция становилась, как мне кажется, сходной с той, какая была у первобытного человека. Чутьем подследственный угадывал, как ему держаться перед лицом опасности или, наоборот, потеряв ориентацию, попадал в лапы человекоподобного чудовища.

Но ведь узники сохраняли образ человеческий. (Иногда пытки его искажали). И все же терли представление о добре и зле. Состояние примитивного ужаса и настороженности сочеталось с навыками, усвоенными в предыдущей жизни. Даже когда у ошеломленных людей вырабатывалась (или пробуждалась?) реакция первобытного предка, чутьем находившего ориентировку во враждебном, непонятном окружении, даже тогда панический страх не выпеснял вовсе привычку логически мыслить и анализировать происходящее. В условиях, словно созданных беспощадным экспериментатором, формировался неповторимый, еще неизученный «гибрид» дикаря и культурного человека. (Нечто сходное можно было наблюдать в сталинских лагерях).

Когда через месяц после окончания следствия меня снова вели по колечатому коридору большего здания НКВД, я не был настроен чрезмерно радужно, но все же надеялся на некий перелом к лучшему. Мне сразу же стало ясно, что я заблуждался, когда меня ввели в типичный следовательский кабинет, в сумрачную, узкую комнату с одним окном в глубине. Спиной к нему восседал

за столом новый следователь, человек с восточным, кавказским обликом. Меня посадили в середине комнаты; позади меня сидел за столиком молодой чиновник, может быть, стажер. А рядом со мной вплотную уселся лейтенант с грубым, угрюмым лицом. К счастью (иначе бы я растерялся), я не сразу распознал в нем того подручного Кобулова, который в начале мая точно так же сидел вплотную рядом со мной, в кабинете Берии, и именно он тогда вслед за Кобуловым нанес мне удар после моего первого «дерзкого ответа».

Новый следователь, вероятно, считался специалистом по «психическому воздействию». Совершенно пренебрегая тем, что следствие уже велось и даже было оформлено его окончание, он повел допрос в угрожающем тоне, как если бы к нему привели только что арестованного преступника и надо его сразу разоблачить. Он требовал, чтобы я рассказал о своих преступлениях, назвал имена «сообщников», дал «конкретные показания»; он с многозначительным видом задавал неожиданные вопросы; злорадно усмехаясь, он предупреждал: «Мы все о вас знаем». На эту стандартную фразу я отозвался так же, как на допросе в июле у следователя Романова; когда тот, вытащив пухлую папку фотокопий моих личных писем, в частности, письма Астахову в Берлин, сказал: «Видите, нам все о вас известно», я ответил: «Ну что ж, если вы все обо мне знаете, значит, знаете и то, что я честный человек». Романов тогда, вероятно, иного ответа и не ожидал, но новый следователь, испытавший на мне свой метод «психической атаки», был несколько сбит с толку моим спокойным ответом.

Однако мне стало жутко и было крайне трудно скрывать свое волнение, когда следователь пустил в ход самый страшный прием психического воздействия: он угрожал арестовать мою жену и даже пытался меня уверить, что она уже в тюрьме, и ее могут тут же привести на очную ставку, если я не стану давать требуемые показания. Непонятно, как я выдержал это испытание. Чутье подсказывало, что следователь лжет. Но и способность трезво мыслить пришла мне на помощь. Я не поверил, что Надю арестовали. Отвечая на угрозы следователя, я твердил: «Не верю, что мою жену арестуют. Не верю прежде всего потому, что я доказал свою невиновность».

Тогда подал голос сидевший позади меня стажер: «Ишь, христосик нашелся», сказал он, используя штампованный оборот речи тогдашних следователей. Потом зашевелился сидевший вплотную рядом со мной подручный палача Кобулова. На сей раз специалист по «физическому воздействию» должен был способствовать «психическому воздействию». Он плохо владел речью и неуклюже проговорил, очевидно, заранее предписанную ему фразу: «Воронков слышал, что не признается, и сказал: дайте мне его на одну ночь, и он даст показания». Хорошо помню, что я пренебрежительно взглянул на питекантропа, кажется, даже улыбнулся. Ведь Воронкову не удалось меня сломить, к тому же я догадался, что человека-дубину поместили рядом со мной не для того, чтобы пускать дубину в ход, а только для того, чтобы он подал реплику, которая, особенно в его устах, должна была меня утрашить.

Старший лейтенант, ведший допрос и, вероятно, придумавший эту мизансцену, смекнул, что психическая атака не возымела действия. Он перешел от

прямых угроз к зловеющим намекам и даже пытался меня смутить неожиданной аргументацией, имевшей скверный политический смысл; этой темы я коснусь в дальнейшем. Следователь задал мне также ряд вопросов, на которые я уже летом давал ответы, опровергавшие клевету. Я сказал ему об этом, добавив, что он ставит знакомые мне вопросы «в своей собственной манере». Он не уловил иронии и, кажется, был польщен. А я, очевидно, хотел дать понять, что запугивание воспринял не как реальную угрозу, а как разгаданную мною «манеру» вести допрос.

Допрос продолжался часа четыре. И этого следователя я больше никогда не встречал.

Когда я вернулся в камеру, то там впервые за все месяцы следствия со мной случился нервный припадок.

Нервный припадок был вызван прежде всего угрозой арестовать жену. Но это был и шок от крушения последних надежд на то, что благодаря моей твердости дело примет благоприятный оборот. Мои нервы сдали и просто потому, что мне стоило огромных усилий сохранить спокойствие в кабинете следователя. А то, что я оставался внешне невозмутимым на этом страшном допросе, мне позднее подтвердил не кто иной, как капитан Пинзур, возглавлявший следствие. Уже в особой следственной тюрьме в Суханове, он сказал мне: «Мы знаем, что вы спокойно держитесь на допросе, но потом устраиваете в камере истерику». Капитан, безусловно, намекал на тот единственный случай в ноябре 1939 года.

Как было не потерять душевное равновесие, вспоминая в камере угрозы следователя! Я спрашивал себя: «А что, если Надю действительно арестовали? Собираются арестовать? А может быть, Надя где-то здесь рядом, в тюрьме?». Но и на это раз приемы самовнушения мне снова помогли. Ведь после того как в июле я получил через следователя весть от моей жены — рассуждал я — дальнейший ход моего дела был относительно благоприятным, и новых осложнений не было. Я не допускал мысли, я не позволял себе думать, что именно из-за того, что меня не удалось сломить, палачи прибегли к новому злодейскому приему — арестовали жену, чтобы таким способом заставить меня дать показания о вымышленных преступлениях.

ОТГОЛОСКИ В ТЮРЬМЕ СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОГО ПАКТА

На допросе в ноябре 1939 года следователь не только угрожал арестовать мою жену, но и прибег к грязному политическому шантажу. «Изобличая» меня как «германского шпиона», старший лейтенант НКВД СССР заявил, что доказательства получены от... гестапо. Следователь поведал мне, что СССР в дружбе с гитлеровской Германией и добавил с таинственным видом, как бы раскрывая служебный секрет: «Так что мы обмениваемся с гестапо материалами». Из этого вытекало: «Мы все о вас знаем». Это было сказано многозначительным и зловеющим тоном. Я привожу точно его аргументацию; хорошо помню слова о том, что НКВД обменивается материалами с гестапо!

Я уже услышал в камере, что между СССР и фашистской Германией заключен какой-то договор. Но я считал глупой выдумкой заявление следователя, что НКВД поддерживает связь с гестапо. В таком смысле я и отвечал следователю. Я мог бы, кроме того, ему сказать (возможно, и сказал, не помню), что, если бы удалось получить доступ к архивам гестапо, там были бы найдены доказательства того, что гитлеровцы видели во мне врага и что гитлеровская контрразведка старалась воспрепятствовать моей антифашистской деятельности. Когда в 1935-1937 годах я работал в посольстве СССР в Берлине, за мной была установлена слежка. Геббельс приказал редакторам берлинских газет не поддерживать со мной отношений. В частности, он предложил бойкотировать прием, устроенный мною в качестве первого секретаря посольства, ведавшего связью с печатью. Два берлинских журналиста нашли способ выразить мне сожаление по поводу того, что им не разрешено принять мое приглашение. Зато один из заместителей Геббельса, некто Берндт, пришел на прием то ли чтобы проконтролировать своих подопечных, то ли чтобы приглядеться к советским дипломатам.

После пребывания в гитлеровской Германии мое обусловленное политическими взглядами и мировоззрением враждебное отношение к фашизму стало более эмоциональным, личным. Я проникся презрением и ненавистью к тем циникам и насильникам, которые претворяли в жизнь фашистскую идеологию и воплощали все худшее, что таится в человеке.

В 1939 году в тюрьме, хотя я уже «непосредственно познакомился» с обликом Берни, Кобулова, их подручных, я все же не мог даже вообразить, что они станут сотрудничать с берндтами, розенбергами и прочими фашистскими злодеями. Берндты были в моих глазах воплощением гитлеровского режима, а кобуловы — не только вырожденками, но и уродливыми исключениями в том обществе, к которому принадлежал и я сам. Так думал не только я один. Так рассуждают и сейчас многие.

Итак, в ноябре 1939 года я не поверил следователю. Однако я уловил, что слова о контакте НКВД с гестапо отражают какую-то новую атмосферу в государственном аппарате. До осени 1939 года ни начальство следователя, ни он сам никак не решились бы хотя бы для того, чтобы запугать и запугать подследственного, обгрыпывать такую тему, как сотрудничество НКВД с гестапо. Прибегнуть к таким приемам можно было только если самая идея контакта советского аппарата с фашистским уже не представлялась чем-то фантастическим и архипреступным.

Теперь-то я знаю, что тогда это было реальностью; Сталин через работников НКВД получил от гестапо фальсифицированные материалы для фальсифицированного суда над маршалами; после августа 1939 года органы НКВД вступили в контакт с гитлеровским аппаратом, в частности, когда передавали ему немецких антифашистов, арестованных в СССР.

Ни о чем таком я в 1939 году и помыслить не мог. Я воспринял как чудовищную нелепость все происходящее: следователь, обвинявший меня, антифашиста, в том, что я будто бы германский шпион, хвастался, что НКВД поддерживает дружественные контакты с гестапо! Какой же политический смысл имело предъявленное мне обвинение? Следователь лгал — говорил я себе — но

как он смеет внушать подследственному, находящемуся в изоляции от внешнего мира, подобные вымыслы о политике советского правительства? А вдруг в его словах есть хоть ничтожная доля правды? В чьих же руках я в таком случае нахожусь? Я оказался в каком-то призрачном, сумасшедшем мире...

В ноябре 1939 года я не знал, что разразились роковые международные события. Я имел лишь туманное представление о том, что произошли некие важные перемены в советской внешней политике. Узнал я об этом случайно, когда в конце августа к нам в камеру привели только что арестованного работника «органов». Переступив порог камеры, он сразу объявил: «Мы примирились с Германией. Заключен важный договор». Никто не решался расспрашивать. Я в волнении опустился на койку. Забрезжили надежды: если атмосфера в советско-германских отношениях разрядилась, руководители следствия могут потерять интерес к делам, начатым до поворота во внешней политике. Мое дело могли бы прекратить и потому, что я сумел защититься, и потому, что дело утратило тот злободневный характер, какой ему хотели придать в обстановке непосредственной угрозы войны.

Надежду сменил страх; возможна и другая зловещая альтернатива: стремясь обосновать целесообразность крутого поворота во внешней политике, оправдать договоренность с гитлеровской Германией, могут затеять пропагандистскую кампанию, даже фальсифицированное судебное дело, чтобы оклеветать, опорочить активных участников антигитлеровской политики, политики окружения фашистского агрессора. Скажут: вот, мол, враждебные элементы толкали нас на опасную авантюру, на войну с Германией, они теперь разоблачены, а угроза германского нападения устранена.

Признаком такого возможного поворота в деле бывших работников советской дипломатии и явился тяжкий допрос, которому меня подвергли в ноябре 1939 года. Позднее эти планы отпали; до инсценировки процесса дело так и не дошло...

ТЮРЬМА И СТРАНА

...Постепенно я в тюрьме пришел к мысли, что, находясь в заключении, стал понимать методы управления страной лучше, чем раньше, когда я исполнял свои служебные обязанности. В камере центральной следственной тюрьмы накапливались сведения о положении в стране не менее ценные, нежели те, которыми располагал дипломатический чиновник, сидя в своем служебном кабинете на Кузнецком мосту.

К концу тридцатых годов был чрезвычайно сужен объем информации, к которой допускались работники государственного аппарата. Правда, я представлял некоторое исключение, так как в качестве заведующего Отделом печати имел в своем распоряжении разнообразную информацию. В НКВД сложилось нелепое положение: заведующие отделами, лишённые информации, выходящей за рамки их служебных дел, заходили ко мне в кабинет «частным образом», чтобы полистать бюллетени ТАСС, не предназначенные для печати, или чтобы осторожно расспросить, что пишут иностранные корреспонденты. Зарубежное радио тогда

еще не было распространенным источником информации. Я же с санкции наркома выписал из Ленинграда большой шкаф-приемник; мы с моим заместителем записывали радиопередачи иностранных станций и телеграфных агентств и составляли в переводе на русский язык краткие сводки для сведения руководства НКВД, а иногда и для других инстанций.

О том, что происходит в мире, я был хорошо осведомлен. Я знал больше других и о таких событиях в стране, о которых умалчивали наши газеты, но сообщали в своих телеграммах иностранные корреспонденты. Они получали газеты со всех концов Советского Союза, а там в те времена публиковались сообщения об арестах и процессах, о которых в центральных газетах не сообщалось. Но тем не менее механизм управления страной мне оставался неясным, и он стал понятнее, когда я провел много месяцев во Внутренней тюрьме НКВД СССР.

Сколько ни мрачна была атмосфера в тюремной камере, все же люди оставались людьми. Возникла потребность в общении. Раскрывались характеры, профессиональные интересы; можно было сопоставить ход жизни, реакцию на события в различных слоях общества; работа и личные отношения были в те годы окрашены в мрачные тона из-за разгула террора, преследований и доноительства.

Конечно, паузы между допросами заполнялись не только рассказами об ужасах следствия. Иногда удавалось отвлечься или отвлечь соседей от тяжелых мыслей.

Я должен сказать, что отвергаю обобщенную отрицательную и безысходно мрачную характеристику душевного состояния и поведения людей в тюрьмах и лагерях. От таких рассказов, даже если они вполне правдивы в страшных деталях, веет человеконенавистничеством, которое к добру не ведет.

Никогда я не забуду моих товарищей в беде, меня поддерживавших в лагере, моих собеседников и друзей. Никогда мы с женой не забудем, как в лагере знакомые и незнакомые заключенные помогли нам встретиться, когда она тотчас же по окончании войны приехала в Устьвымаг, в Княж-погост, не получив в Москве разрешения на свидание. Доброжелатели-заключенные, оказавшие помощь жене узника в ее хлопотах о свидании, передавали ее друг другу как эстафету; у Нади тогда сложилось впечатление, что она встречала среди заключенных одних только хороших людей.

Я не рассказывал в камере, чем занимался до ареста и какую занимал должность, полагая, что благодаря этому доносчик, помещенный в камеру, попадет впросак, так как его начальство, принимая от него донесения, обнаружит, что он даже не знает, кто я такой. Мои предположения подтвердились в середине зимы. Во время прогулки, когда мы шагали в маленьком закуте между высокими административными зданиями, шедший впереди меня мой сосед по камере, бывший наркомвнуделец, вдруг обернулся и злобно прошипел: «Настоящий враг народа, даже в камере скрывает, кто он такой». Мне было ясно, что мой сосед зол, потому что остался в дураках, докладывая следователю свои наблюдения надо мной. А фраза, брошенная им, была бессмысленная, ведь от следователя я не скрывал и не мог скрыть, кем был до ареста.

В течение зимы 1939-1940 годов состав узников в камере часто менялся. Людей уводили и приводили днем и ночью. Однажды глубокой ночью ввели

человека, еще вечером находившегося на свободе. Мы приподнялись со своих коек, собираясь его расспрашивать о новостях с воли. Но он остановился между тесно стоявшими койками и, обращаясь ко всем сразу, спросил без обиняков: «Бьют?» Мы оставили вопрос без ответа. Утром выяснилось, что наш новый сосед — журналист. Он бывал в Отделе печати и знал меня в лицо. Я его не помнил, он же довольно красочно описывал, как я давал какие-то распоряжения цензору. По его словам, задолго до моего ареста в журналистской среде удивлялись, что я еще не арестован. А сейчас, оказавшись со мной в одной камере, он явно был удивлен, что я еще жив.

Некоторое время нашим соседом по камере был Нанишвили. Старый большевик сохранял спокойствие и держался обаянием. Правда, он сообщил нам, что был учителем Сталина в дореволюционные времена. О своем ученике, посадившем его в тюрьму, он упоминал без откровенной злобы, но и без пиетета. Как-то разговорившись, Нанишвили рассказал нам, что в начале борьбы с троцкистской оппозицией его командировали в Оренбург; тогдашнего секретаря оренбургского губкома Н.И.Ежова он нашел на вокзале в салон-вагоне, где Ежов скрывался, так как в городской партийной организации сторонники Троцкого имели большое влияние. Будущий организатор уничтожения партийных кадров, в том числе и преданных Сталину деятелей, струсил в те годы, когда ему было поручено дать отпор оппозиции против Сталина. Учитель Сталина не без удовольствия поведал эту историю заключенным; многих из них Ежов посадил в тюрьму, и они знали, что Ежов снят с поста наркома внутренних дел.

Тяжело далось мне расставание с М.Б.Кузеницем. Мы с ним понимали, что его дело заканчивается. Он даже получил посылку от жены. И вот наступил день, когда ему была дана команда: «На выход с вещами!». Мы расцеловались и Кузениц «ушел в никуда». Почему-то в камере сложилось представление, что Кузеница ждет самое худшее. Мне не хотелось так думать, но последующие годы меня не оставляла мысль, что я больше никогда не увижу человека, общение с которым облегчило мне жизнь в тяжкие месяцы самых страшных испытаний. Какова же была моя радость, когда он в 1957 году совершенно неожиданно появился в моей московской квартире...

Необходимо суммировать те тюремные впечатления и связанные с ними ассоциации, благодаря которым я, находясь в заключении, стал лучше понимать систему управления страной под властью диктатуры. Попытаюсь вкратце обобщить и тюремные впечатления, и некоторые мысли, возникшие теперь, когда я пишу свои воспоминания...

В условиях диктаторского режима аресты, судебные и внесудебные репрессии, будучи неотъемлемым элементом внутренней политики, являются также определенным методом администрирования, управления государством, в том числе и народным хозяйством.

В конце двадцатых годов, работая в «Известиях», я написал статью по поводу так называемой пачификации в Польше; такое название правительство Пилсудского дало систематическим репрессиям в Западной Белоруссии; это были жестокие мероприятия, в деревнях свирепствовали карательные отряды, тюрьмы

были переполнены. Я озглавил свою статью об этих событиях: «Пацификация как метод внутренней политики». С.А.Раевский, заведовавший иностранным отделом редакции, визируя статью, которая ему не очень понравилась, сказал мне: «Я пропускаю эту статью только ради заголовка». Я тогда не уловил скрытого смысла в словах этого умнейшего и весьма сдержанного человека.

Между тем массовые репрессии против значительной части крестьянства, проводившиеся в СССР под лозунгом ликвидации кулачества как класса, представляли собой именно разновидность «пацификации», как я ее истолковал в статье о Польше при власти Пилсудского. Конечно, я тогда не допускал и мысли об аналогии между «пацификацией» в Польше и «пацификацией» в СССР. А ведь я был непосредственным свидетелем того, как применялся этот «метод внутренней политики».

Зимой 1929 года, в период коллективизации, я добровольно отправился по поручению шефской организации в Центрально-Черноземную область. Там, близ Льгова, в тургеневских местах, я разъезжал по деревням в качестве агитатора. Вскоре у меня возникли сомнения и тревожные мысли: я обнаружил, что значительная часть крестьянства неохотно идет в колхозы, во всяком случае, колеблется. Порой колеблющихся можно было переубедить в спокойной беседе. Мысль о преимуществе артельного хозяйства не была вовсе чужда и беднякам, и многим середнякам. Но колебания крестьян перерастали в протест и мятеж, когда власти прибегали к нажиму и незаконным арестам. (Я изложил свои впечатления в очерке, опубликованном в «Красной Нови» в мае 1930 года; теперь я с удивлением установил, что редакция опубликовала достаточно правдивое описание событий).

В начале 1930 года мои сомнения в правильности проводимой политики рассеялись лишь только прозвучали магические слова Сталина: «Головокружение от успехов». В то время я еще работал в деревне. Нас, агитаторов, собрали на совещание в районном пункте на станции Конышевка. Докладчик, прибывший из окружного центра, очевидно, из Льгова, объяснил нам, что в коллективизации допущены перегибы, их надо немедленно исправить. Насколько помню, доклад был примерным пересказом статьи Сталина, опубликованной чуть позднее, 2 марта 1930 года. Незадолго до того я предложил районным руководителям освободить несколько семей, доставленных в район из той деревни, где я побывал. Я доказывал, что эти семьи не относятся к категории кулаков. (Невелика заслуга: ведь все репрессированные крестьянские семьи были жертвами беззакония и жестокого призыва!) Меня обрадовало известие о том, что правительство исправляет во всей стране такие ошибки и перегибы, какие и мне пришлось наблюдать и исправления которых я добивался. И испытал огромное облегчение. Помню, что я сказал себе: «Это моя партия!», хотя я сам еще не был членом КПСС...

«Моя ли эта партия?» — спросил я себя пять лет спустя в 1936 году. Находясь в Москве в командировке из Берлина, где был на постоянной работе, я присутствовал на партийном собрании в НКВД. На меня произвела угнетающее впечатление кампания проработок на партийных собраниях, свидетелем которой я оказался неожиданно для себя.

Репрессии во всеобъемлющем масштабе в дипломатическом ведомстве происходили позднее, чем в других звеньях государственного аппарата. Вообще же к середине тридцатых годов насаждение страха и доноительства, аресты и репрессии против партийных и государственных работников стали таким же постоянным методом внутренней политики, как и карательные мероприятия в деревне. (Парадоксальным образом эта система мероприятий привела к тому, что позднее новые кадры государственных служащих пополнялись в значительной мере выходцами из крестьянской среды).

Понимал ли я в те годы, почему так случилось, что я, еще будучи вне партии, восклицал: «Это моя партия!», а оказавшись в рядах партии и на доверенном посту, усомнился: «Моя ли эта партия?». Нет, не понимал. Подобно многим идейным участникам строительства советского государства, я долгие годы не подвергал сомнению исходные предпосылки и принципы, когда спрашивал себя, почему план построения нового, справедливого общества фактически не осуществлен.

Размышляя в тюрьме над эволюцией советского общества, я восстанавливал в памяти последние статьи Ленина (в тюрьме нельзя было получить для чтения книги Ленина). Я вспоминал также, как я был озадачен тем, что на XVII съезде была ликвидирована созданная в конце жизни Ленина Центральная Контрольная комиссия ВКП(б); по мысли Ленина, она должна была в качестве независимого органа обеспечивать контроль над бюрократизирующимся государственным, да и партийным аппаратом вплоть до верхушки. Кажется, я уже в те годы понимал, что ЦКК никогда не играла той роли, для которой была предназначена. Все же ликвидацию ЦКК и учреждение вместо нее Комиссии Партконтроля, подчиненной ЦК, вернее — Политбюро, я воспринял как отказ от — правда, и нереализованных — идей Ленина о борьбе с бюрократическим перерождением правящего аппарата.

И в годы репрессий, предшествовавшие моему аресту, и в тюремной камере я, ища ответ на мучительные вопросы, мыслил в шорах. Когда предо мною открылась бездна, я не сразу встал на ноги, а, склоняясь над пропастью, не отводил от нее глаз.

Да что там говорить! Годы понадобились мне для того, чтобы по-новому оценить эволюцию нашего общества, а вернее, вернуться к позиции, из которой я исходил прежде, чем сам был втянут в процесс общественной эволюции.

Инженеры и ученые, армейские командиры и директора заводов, комсомольские активисты и выросшие в атмосфере революционной романтики партийные работники, дипломаты и журналисты, — все мы оказались узниками Внутренней тюрьмы на площади Дзержинского не просто по той причине, что тогда свирепствовал массовый террор, обрушившийся на общество. Мы свалились в яму не потому, что сбились с пути, по которому шла страна. Мы вместе со всем населением страны оказались в сетях диктаторского режима и сформировавшейся под его властью общественной психологии. Об этом равно свидетельствовали и наши биографии, и ложные обвинения, предъявляемые нам, и аргументация следователей и наша контраргументация.

Жертвы террора тридцатых годов, о которых я вспоминаю, к числу которых принадлежал и я, не могли охватить мыслью всю цепь событий, опреде-

ливших их судьбы, и не могли предвидеть, как эти события скажутся на судьбах страны. Мало кто тогда разобрался в мотивах, в тайнах и последствиях происходящей трагедии и в существе того государственного переворота, который фактически произошел между 1934 и 1940 годом, но был подготовлен всем предыдущим развитием. Я в тюрьме придумал (для собственного употребления) такую формулу: расправа с партийным и государственным аппаратом — это борьба за наследство Сталина при участии самого Сталина. То была, конечно, надуманная и неполноценная попытка обобщения. Моя формула была неверна прежде всего потому, что Сталин вовсе не пекся о своем наследстве, он собирался еще долго жить и властвовать. С помощью неслыханного террора он стремился укрепить свою власть, свою личную диктатуру. И все же в формуле, придуманной мною в тюрьме (почему я здесь об этом упоминаю), был известный смысл: в результате террора тридцатых годов, да и позднейшего периода, сформировался тот жестокий и по сути своей растленный политический режим, который остался в наследство от Сталина.

Ключевский сказал однажды: «Прошлое надо изучать не потому, что оно прошлое, а потому что, уходя, оно не умело убрать своих последствий». Я, собственно, и веду рассказ о прошлом, потому что хотел бы помочь себе и другим разобраться в современных событиях. Несмотря на усилия нынешних фальсификаторов истории советского государства, невозможно восстановить культ Сталина. Но его наследство все еще тяготеет над обществом. Если от него не удастся освободиться, то вся система может окончательно обанкротиться.

В сталинских тюрьмах и лагерях завязались узлом противоречия всей истории нашей страны в XX веке. Этот узел не развязан и поныне. Когда я говорю, что существует историческая и логическая связь между рядом явлений и черт советского общества в различные периоды его истории, я имею в виду и связь между методами управления государством в годы массовых репрессий и состоянием советского государства во второй половине XX века, когда система управления и экономическая система зашли в тупик...

ЛЕФОРТОВО. ВТОРОЕ МНИМОЕ ОКОНЧАНИЕ СЛЕДСТВИЯ

Многоголосие в воспоминаниях о пройденном мною пути становится все более явственным; перекликаются несходные голоса, звучавшие в различные периоды моей жизни, отзвуки моих светлых и мрачных впечатлений. К концу повествования я попробую сопоставить звучание разных голосов, определить «чистоту звука». Но сейчас, возобновляя рассказ о том, как я боролся за жизнь и за человеческое достоинство, я слышу голос того, кто в тюрьме дал клятву: «Ни пыткой, ни словом не выжечь во мне верность стране и народу». Я напоминаю себе, что во время следствия никакие раздумья и сомнения не могли ослабить моей убежденности в том, что я не только должен опровергнуть живые обвинения, но вправе противопоставить насилию и клевете мою преданность советскому государству, свое непоколебимое мировоззрение. Если бы я не имел такой уверенности, мне не удалось бы противостоять пыткам и провокациям.

Ход следствия после октября 1939 года и вплоть до суда летом 1941 года уже не дает мне повод упоминать о таких моментах, когда бы я «чуть-чуть не совершил роковой ошибки» или чуть не попал в западню, в какую попадали многие жертвы репрессий. Тем не менее методы следствия, которые позднее применялись в моем деле, и те испытания, которым я подвергался, это часть более широкой картины из истории нашего общества.

Зимой меня вызвал на допрос младший лейтенант Гарбузов. Я намеренно не говорю «вел дело». Начинаящий работник следственных органов получал от начальства точный перечень вопросов, какие он должен был мне задать. Этот рыжеватый молодой человек старательно и не спеша записывал мои ответы. Держался он спокойно и корректно; вероятно, это было и проявлением его личных черт; ведь если бы он вздумал держаться со мной грубо и недоброжелательно, начальство его за это не попрекнуло бы. Позднее, в мрачнейшей обстановке, я имел случай убедиться, что он ко мне относится человечно. Но еще позднее, можно было заметить, что он приобретает грубые навыки заправского следователя тех времен.

Не стоит восстанавливать в памяти содержание допросов у Гарбузова. Клеветнических показаний он мне не предъявлял (кажется, прочитал чьи-то туманные упоминания обо мне). А за пределами клеветы, собственно, и допрашивать было не о чем. Моими родственными связями следователи не интересовались, но и служебной деятельностью по существу тоже не интересовались. Раза два прочитали вслух полученные из архива НКВД записи моих бесед с иностранными дипломатами, причем трудно было понять, почему из многочисленных записей выбрали именно те, по поводу которых у меня спрашивали объяснений. Любопытно, что ни разу ни один из следователей не заговаривал о моем отце, Парвусе, хотя в заголовке моего дела, помимо моей фамилии, было помечено: «сын Парвуса». Гарбузов, вероятно, и не знал, что после смерти Парвуса я отдал советскому государству наследство, полученное в результате сложной борьбы. Обо всем этом знали руководители следствия; они сочли, что следует вовсе избегать на допросах освещения таких событий моей жизни, которые оказались бы в полном противоречии с попытками изобразить меня врагом советского государства.

Гарбузов расспрашивал меня о фактах, относящихся к организации работы в НКВД. Он не пытался злобно истолковывать мои ответы. Создавалось впечатление, что кое-кто действительно собирает фактические данные о работе дипломатического аппарата.

Однажды поздней ночью меня вызвали на допрос. Я был напуган и взволнован, как, впрочем, каждый раз, когда тюремщик приоткрывал дверь и называл мою фамилию. Правда, я же сам объяснял моим соседям, что нам не следует придавать особенное значение немотивированным ночным вызовам: следователь вызывал подсудимого с таким же деловым безразличием, с каким он вытаскивал из шкафа какую-либо папку. Ожидая часа в три утра машину, чтобы ехать домой, он мог и развернуть дело, еще недочитанное, мог и вызвать заключенного, которому он днем забыл поставить какой-нибудь вопрос. А мы трепетали и старались так или иначе истолковать поведение чиновника.

Той ночью, о которой я сейчас вспоминаю, ничего серьезного не произошло. Два незнакомых молодых следователя предложили мне разъяснить им значение некоторых перемещений с должности на должность в НКВД. Их интересовало, в каких случаях дело шло о повышении и в каких — о понижении. Выслушав мои ответы, следователи, видимо, недавно переведенные в центральный аппарат, тут же при мне обменялись мнениями: наконец-то они получили вразумительные разъяснения. Очевидно, меня вызвали по совету моего следователя, сказавшего своим коллегам, что я не стану путать.

Итак, следователи были довольны, что получили достоверные сведения, касающиеся перемещений в дипломатическом аппарате. Однако, разбираясь в этих вопросах, они исходили из абсолютно ложной предпосылки, будто этим аппаратом руководили враги государства. Любое верное по существу разъяснение, является та или иная перестановка повышением или понижением, могло быть использовано для того, чтобы облыжно обвинить кого-либо в «преступных намерениях».

Все тот же заведомо порочный круг...

...В марте 1940 года наступил день расставания с камерой во Внутренней тюрьме НКВД СССР. К тому времени мне уже стало ясно, что я на свободу не выйду; впереди — скитания по тюрьмам и лагерям.

Улетучились мои надежды на справедливое окончание следствия, но это не означает, что я научился трезво оценивать свое положение. Я все еще не ждал, что оно ухудшится, я ждал перемены к лучшему. Когда меня забрали из камеры и стали готовить к отправке из тюрьмы (обыск и т.п.), я решил дать знать об этом моим соседям по камере. Существовал такой обычай: если арестант, уведенный из камеры, хочет сообщить соседям, что с ним ничего плохого не случилось, он через конвоира посылал сокамерникам кусок мыла, якобы попавший в его вещи по ошибке. Так я и поступил; не знаю, дошел ли до камеры мой сигнал, если дошел, то я невольно ввел в заблуждение моих соседей.

Поездка впервые в «воронке», в закрытой машине для перевозки заключенных, произвела на меня очень сильное впечатление. Острота ощущения была вызвана не тем, что меня впихнули в узкую стальную клетку, составлявшую часть большой стальной клетки на колесах. Совсем другое меня взволновало: близость моей новой тюремной камеры к миру, к людям. «Воронки» был выкрашен в светлые цвета, на машине снаружи виднелись надписи: «Мясо» или «Хлеб». Поэтому люди не шарахались в сторону от машины, в которой истерзанные люди сидели скорчившись во мраке. Когда машина останавливалась на перекрестке, я слышал как рядом, совсем близко разговаривали прохожие, слышал голоса и смех детей. С волнением вслушивался я в обычный уличный шум; вот хлопнула дверца легковой машины, заскрежетали тормоза, весело зазвонил трамвай. Незримая и желанная жизнь бурлила подле меня. Ее волны плескались близ самой тюремной камеры, у самой стальной перегородки. Но жизнь и люди оставались для узника недосыгаемыми, как и тогда, когда он находился за высокими стенами в одиночной камере.

Я предполагал, что меня везут в Бутырскую тюрьму, может быть, в пересылку. Не везут же меня в Лефортово, в строгорежимную тюрьму? Ведь

то, что проделывают с подсудственными в Лефортове, со мной уже проделали «на Лубянке»!.. Каков же был мой ужас, когда, выйдя из «воронка», я услышал грохот, назойливый шум, который был признаком того, что я в Лефортове. Заключенным было известно, что в Лефортовской тюрьме чуть ли не день и ночь слышно, как неподалеку работает аэродинамическая труба. И вот меня оглушил неистовый рев, меня потрясла мысль, что предстоят новые муки. Построенная при царизме, военная тюрьма в Лефортово считалась страшным местом в то время, о котором я пишу. А теперь, в то время, когда я пишу, именно в Лефортовской тюрьме находятся в заключении подсудственные, а также допрашиваются еще не арестованные граждане, против которых возбудили дело органы госбезопасности. Там построен специальный следственный корпус. Таким образом заключенные, подсудственные и свидетели сразу оказываются в классическом тюремном замке.

Я хорошо запомнил массивные корпуса, составляющие букву «К»; внутри между корпусами — перекресток, где сходятся пути, ведущие в различные коридоры и на все этажи. Снизу видны галереи, обрамляющие двери в камеры, по ним шагали тюремщики. На перекрестке стояли дежурные надзиратели; размахивая флажками, они давали знать конвоирам, в каком направлении путь свободен.

Меня привели на верхний этаж, не помню какой именно. Отворилась тяжелая дверь и, хотя я сознавал, что нахожусь в верхней части здания, мне показалось, что я вхожу в подземелье. Вероятно, такое впечатление было связано с тем, что маленькое окошко с решеткой находилось высоко под потолком, а пол не был крыт досками и казался земляным.

Камера была на двух человек. Молча, поклоном, меня приветствовал новый сосед — монгол. Осмотревшись в камере, я зашагал взад и вперед по тесному пространству, обдумывая текст заявления, которое я намерен был сразу подать следователю. Внезапно раздался голос соседа: «Ваш — военный?». Я ответил отрицательно, не скрывая удивления. На мне был типичный штатский костюм, никакой военной выправкой я не отличался. Вероятно, соседа ввел в заблуждение тот не совсем обычный в тюремных условиях решительный и суровый вид, с каким я расхаживал по камере.

Мрачная слава Лефортовской тюрьмы оправдывала самые страшные предположения. Постучав кулаком в дверь, я вызвал тюремщика и сказал ему, что хочу подать заявление следователю. Во Внутренней тюрьме в таких случаях заключенного выводили в бокс и там давали ему бумагу. В Лефортово узников только на допрос и на прогулку выводили из камеры. Дежурный принес мне лист бумаги, и я в его присутствии написал заявление следователю, в котором без обиняков заявлял, что перевод в Лефортовскую тюрьму не изменит моей позиции, я предупреждаю, что в здравом уме и памяти никаких показаний о своей мнимой вине давать не стану. Я хотел продемонстрировать, что меня не запугали, и оставить документальное доказательство того, что в нормальном состоянии я продолжал опровергать обвинение.

Итак, я готовился к новым пыткам. Но на этот раз не моя обычная оптимистическая, а, наоборот, пессимистическая оценка положения оказалась ошибочной. В Лефортово дело обошлось без новых физических страданий.

Примерно месяц меня вообще не вызывали из камеры...

16 апреля 1940 года младший лейтенант Гарбузов снова составил протокол об окончании следствия. Для этого потребовалось менее получаса. Следователь заполнил бланк и, не задавая мне никаких вопросов, в соответствующей графе написал: «Виновным себя не признаю». Меня такая запись вполне удовлетворила. Ведь все, что я считал необходимым написать в опровержение обвинения, я записал в протокол при предыдущем оформлении окончания следствия. На этот раз было достаточно того, что снова в основном документе дела зафиксировано, что я живых показаний о каких-либо преступлениях не давал и заявил о своей невинности.

В отличие от моего соседа во Внутренней тюрьме, ликовавшего, когда я рассказал, как благополучно оформлено окончание следствия по моему делу, мой сосед в Лефортовской тюрьме отнесся сдержанно к моему радостному сообщению о том, что, наконец, снова следствие завершено. Не было никаких оснований думать, что он знает что-либо о моем деле. Просто он относился с глубоким недоверием к следователям и их начальникам.

Миновал год со дня ареста; сложные чувства обуревали меня, когда я продумывал уроки этого страшного поворотного периода в моей жизни. Я был горд и счастлив при мысли, что выдержал испытание, сохранил свое честное имя, избежал гибели, буду жить. Но мучительно было сознавать, что и опровергнув обвинения, на свободу не выйду; с тревогой думал я о том, что меня ждет в ближайшем времени и в более далеком будущем. Пржежня жизнь кончилась, но какая новая жизнь меня ожидает?

Таковы уроки непосредственного знакомства с незаконным аппаратом репрессий. После первого оформления конца следствия я размечтался о том, как встречу с семьей, слышал голос жены на расстоянии, верил, что услышу его вблизи. Когда же вторично благополучно завершилось следствие, меня мучила тревога, я не надеялся вскоре увидеть семью, с грустью думал о том, что мы с женой разлучены надолго.

Через месяц после составления протокола об окончании следствия, 19 мая 1940 года, тот же следователь Гарбузов вызвал меня и, как ни в чем не бывало, приступил к допросу.

...Когда неожиданный допрос от 19 мая закончился, я спросил следователя, как понимать происходящее: следствие возобновлено или этот допрос — вне рамок следствия по моему делу? Гарбузов отвечал невразумительно, бывает, мол, по-всякому.

Прошел еще месяц, и 25 июня меня вызвали из камеры на выход с вещами. Я обрадовался, что покидаю Лефортово, заведомо строгорезимную тюрьму. Мой сосед печально наблюдал, как я в волнении собирал вещи. Если бы он был христианином, я бы сказал, что, прощаясь со мной, он благословил меня на новый крестный путь.

Вскоре я убедился, что существует более страшный застенок, чем Лефортово: секретная особорезимная тюрьма в Суханове.

Поездка в железном «воронке» — на этот раз не в Лефортово, а из Лефортово, — странным образом затянулась. Сидя в стальной клетке, я жадно прислушивался к голосам людей, к звонкам трамваев и сигналам машин, пытался по поворотам и остановкам на перекрестках угадать, в какой части города мы находимся. Я не сомневался, что меня, как и всех заключенных, по делам которых следствие закончено, перебрасывают в Бутырки. Но вскоре я с недоумением уловил, что уличный шум затих, потом раздался свисток паровоза, машина явственно стояла у железнодорожного переезда, и, действительно, когда она двинулась с места, я по толчкам понял, что мы переезжаем через рельсы. Итак, меня везут за город. Мелькнула фантастическая идея; в результате годичного следствия установлена моя невиновность и теперь прежде, чем выпустить на волю, меня поместят в загородную тюрьму с облегченными условиями. Но я сразу отогнал утешительные мысли, я уже научился не поддаваться наивным иллюзиям.

Наконец, меня выгрузили из машины. Мы находились в загородной местности; но оглянуться по сторонам мне не удалось, конвойные меня подхватили, завели в небольшой одноэтажный дом и заперли в один из многочисленных боксов, двери которых я успел приметить. Я уже был достаточно опытным заключенным, чтобы понимать, что меня заперли во временном помещении, а документы положили на стол некоему начальнику, который определит место моего постоянного пребывания. Однако бокс отличался от тех, в которых мне пришлось побывать на Лубянке и в Лефортово. Он не был освещен и был необычайно узок. Я обнаружил, что не имею возможности раздвинуть локти; они упирались в стенку; ноги можно было вытянуть только, если сидеть прямо на узкой скамейке, расположенной у задней стенки.

Потянулись долгие мучительные часы. Я задремал, проснулся, снова засыпал, снова пробуждался и сидел в темноте, прислушиваясь к шорохам и шепотам, доносившимся извне. Есть и пить мне не давали. В этом боксе, вполне пригодном в качестве карцера, я пробыл часов шестнадцать. Когда меня доставили в бокс, солнце еще не зашло, а вывели меня из бокса, когда уже снова был светлый день.

Меня повели через широкий двор, я обратил внимание на большие тенистые деревья. Был ясный июньский день. Но я недолго наслаждался его сиянием. Меня затолкнули в темный подъезд обычного, не тюремного типа, и по небольшой лестнице ввели на второй этаж; я оказался в узком коридоре; по обе стороны коридора — двери с глазками; одну из дверей отомкнули и меня втокнули в камеру. В одну из камер секретной Сухановской тюрьмы.

В ТЮРЕМНОМ ТУПИКЕ. СУХАНОВСКИЕ БУДНИ

«Змея есть змея, тюрьма есть тюрьма». Эту восточную поговорку любил повторять не кто иной, как Сталин, который охотно напоминал, что тюрьма, как ядовитая змея, по самой своей природе губительна для человека. В ином случае это — не тюрьма. О ядовитых речах Сталина мне рассказал в тюремной камере

бывший партийный деятель. В устах диктатора афоризм имел значение директивы, особенно после 1935 года, в ежовские времена, когда режим в тюрьмах был чрезвычайно ужесточен (помимо применения пыток), а тюрьмы были переполнены. Смысл сталинских слов был тот, что власти обязаны быть жестокими, тюрьма должна быть застенком, пребывание в тюрьмах и лагерях должно быть тяжким, мучительным.

Сухановская особорежимная тюрьма представляла собой изошренное, хорошо продуманное Берией осуществление жестоких требований Сталина. Сухановская тюрьма, очевидно, имела двойное назначение: застенок для пыток и расстрелов, расположенный в стороне, за городом, и изолированное засекреченное место заключения для «консервации» жертв палачей.

...Бывший монастырь, в котором была устроена тюрьма, расположен недалеко от популярного дома отдыха Союза архитекторов. На протяжении многих лет отдыхающие не подозревали, что они совершают прогулки близ мрачного застенка. Вернувшись в Москву, я спрашивал различных жителей Москвы, что им известно о Суханове, и получал один и тот же ответ: в этом живописном месте по Павелецкой дороге находится прекрасный дом отдыха.

Не только были покрыты тайной черные дела, творившиеся внутри бывшего монастыря, но не было и внешних признаков того, что монастырь превращен в тюрьму. Вероятно, сухановская тюрьма была единственной в СССР, в которой окна не были снаружи заделаны решетками. Территорию тюрьмы обрамляло двухэтажное здание: очевидно, когда-то там находились кельи монахов. В двойные рамы этого здания были вставлены толстые гофрированные стекла (или пластмасса?). Сквозь них ничего нельзя было увидеть ни снаружи, ни изнутри. Вероятно, с улицы дом производил впечатление лаборатории или небольшой фабрики. К тому же камеры пыток находились в подвалах и внутри территории.

В камере, в которой я оказался, больше двух человек никак не могло бы поместиться. Я не раз шагами замерял отведенную нам площадь, она равнялась примерно шести квадратным метрам. Прямо против двери было расположено окно. Свет, проникавший через толстые гофрированные стекла, был тусклым, а лучи солнца многократно преломлялись. В середине камеры был ввинчен в пол небольшой столик. С каждой стороны стола был ввинчен в пол круглый табурет, не слишком удобный для многочасового сиденья. Коек не было. Дощатое ложе, на котором ночью спали заключенные, днем составляло часть стены и находилось под запором. Тюремщики его утром приподнимали, техника была такая же, как в вагоне, но полка на день не опускалась, а поднималась. Ночью опущенные деревянные полки вплотную примыкали к столу, а опорой им служил с каждой стороны табурет.

Если бы в этой камере одна полка была бы и днем опущена, а в камере находился бы только один человек, то он мог бы, пожалуй, устроиться сносно. Я бесплодно мечтал о такой возможности в течение тринадцати месяцев! Однако обе полки днем были приподняты и под запором, так что я был вынужден каждый день пятнадцать часов сидеть на круглом табурете. Между табуретами и столом невозможно было протиснуться, а между табуретом и стенкой можно было протиснуться боком; так я и совершал «прогулки» по камере, когда бывал

в ней один. Когда же в камере находились два человека, то передвигаться по камере нельзя было и теснота ощущалась особенно болезненно.

Стены камеры, потолок, стол, табуреты были окрашены в голубой цвет. В потолке был плафон из такого же гофрированного стекла, как и оконные стекла. В этой обстановке были элементы какой-то фантастики. Тюремной камере придали такой внешний вид, как если бы то была своеобразная каюта парохода или проходное купе в поезде. Можно было камеру сфотографировать, да еще на цветную пленку под таким углом зрения, что создавалось бы впечатление, будто это светлица или углубление у окна в приделе храма. А была это мучительно неудобная для жилья камера в застенке, где люди сходили с ума, чему мне пришлось быть свидетелем.

Сухановская тюрьма была не просто строгорегимной тюрьмой, а именно особорегимной. Заключенных можно было помещать в самые неожиданные условия, и крайне тяжелые и относительно удобные. Они должны были понимать, что зависят от произвола палачей. Не случайно на стенах камеры не были вывешены правила внутреннего распорядка; такие правила (неодинакового содержания) висели в рамках и во Внутренней тюрьме, и в Лефортово, то есть в тюрьмах вовсе не облегченного режима. Но в Сухановской тюрьме не было никаких правил внутреннего распорядка и никаких определенных правил ведения следствия. Особый режим для особо страшных государственных преступников...

В Сухановской тюрьме имелись подвалы и камеры, где применялась всяческая «техника» (знаю по рассказам), и была пустая церковь, где действовали «по старинке» (мой случай). Иногда подсудимых привозили в Суханово ненадолго, только для соответствующей «обработки», как выражались следователи; иной раз заключенному только показывали Суханово, чтобы поуготать, и снова увозили в обычную тюрьму. Часто соединяли использование застенка для пыток с дальнейшей строгой изоляцией там же в Суханове, как это случилось со мной. Бывало и так, что привезенных в Суханово заключенных не подвергали «физическому воздействию», а сразу помещали в условия строгого режима на месяц, а то и на год, если не больше.

Назову известные мне имена сухановских узников: Г.А.Астахов (советский дипломат, мой добрый знакомый), Ермил Бобоченко, бывший секретарь Мурманского обкома (я встретился с ним в лагере, не могу о нем хорошо отзываться), видный хозяйственный работник, друг Кирова Чингис Ильдрым (мой первый сосед в Суханове), инженер из Баку Дорожилов (мой недолгий сосед, приятный человек), бывший советский консул на Востоке Апресов, бывший работник Путиловского завода инженер-изобретатель Васильев, несколько бакинцев, фамилии которых я не знаю, Булатов, бывший заведующий орготделом ЦК КПСС, работник НКВД Ф.Крейнин (провокактор) и, наконец, Н.И.Ежов. Это просто перечень имен, ставших мне известными, по этому перечню нельзя судить об общем составе и облике тогдашних заключенных в Суханове.

Подследственных отправляли в особорегимную тюрьму для строгой изоляции по различным причинам. Одна из них: подсудимый еще мог понадобиться в качестве лжесвидетеля. (Таковую роль играл, например, Н.И.Ежов. Быв-

ший палач после своего ареста помогал новым палачам в конструировании лживых обвинений. Мне известно, что именно в Сухановской тюрьме содержавшийся там Ежов на очных ставках в грубо циничной форме давал лживые показания, губившие людей, еще не сложенных).

В Сухановскую тюрьму сажали и если дело «не получилось» (мой случай). Но самая «консервация» была пыткой, цель которой заключалась в том, чтобы несчастный, когда подойдет срок окончания законсервированного дела, был максимально дезориентирован, угнетен, а то и вовсе потерял способность правильно реагировать на происходящее, а тем более сопротивляться. В некоторых случаях, когда начальство не приняло решение по затянувшемуся делу, заключенного направляли в особорежимную тюрьму (с ведома того же начальства) просто потому, что на эту тюрьму не распространялись правила и сроки, имевшие некоторое значение в других следственных тюрьмах; судьба невинного человека, конечно, не занимала руководителей «следствия»: выживет — его счастье, не выживет — тоже не беда.

В уже описанной мною стандартной сухановской камере (были и «нестандартные», подвальные и «церковные»), потолок не протекал, не промерзали стены, как во многих тогдашних тюрьмах. То была чистая, аккуратно сделанная клетка, где заточенная птица ударялась о прутья, даже не пытаясь взлететь, а едва лишь расправив крылья. Отсутствие днем койки лишало клетку даже подобия жилья. Было трудно протискиваться между привинченными к полу предметами, и это создавало ощущение какой-то дополнительной замкнутости, скованности. Мне пришлось побывать в такой камере, где ночью и при открытой койке заключенному приходилось нелегко: койка опускалась не от боковой стены с опорой на табурет, а от торцевой, той, где двери, и повисала вдоль боковой стены, так что приходилось спать в наклонном положении, причем наклон был в сторону головы.

В Суханове змеиная злоба тюремщиков выражалась в пытке изоляцией и теснотой, в назойливом надзоре. Насколько я мог уловить, один надзиратель обслуживал три камеры. Глазок открывался чуть ли не ежеминутно. Достаточно было малейшего неосторожного движения узника, чтобы загремел замок, надзиратель вошел и стал осматривать заключенного и камеру.

Прогулок не было все тринадцать месяцев. Тринадцать месяцев я пробыл взаперти. К счастью, баня была во дворе. Но пока не зажили раны, желанная баня причиняла физические страдания, в тесной камере меня ставили под душ, и вода хлестала по изъязвленному телу. Но не это осталось у меня в памяти. Когда три тюремщика меня выволакивали и тащили в баню, я жадно, с упоением, вдыхал пьянящий душистый воздух: «Одурающий запах полыни стал запахом жизни с тех пор, как поспешно меня проносили в темноте через двор». В баню водили вечером или ночью. Зимой пронзительный морозный воздух обжигал легкие, приспособившиеся к духоте камеры...

...В той камере, куда меня ввели, уже находился заключенный. Первоначально он уклонился от разговора. Когда я спрашивал, где мы, собственно, находимся, мой сосед отвечал лаконично: «Сами увидите...». Так мы сидели лицом к лицу, каждый на своем табурете, прислонившись к стене. Иной позиции мы и не могли занимать, сидеть боком было неудобно, ходить невозможно, лежать негде.

Я с интересом приглядывался к прекрасному бледному лицу седоволосого мужчины с грустными, но очень выразительными черными глазами. Может быть, я сейчас и кое-что домысливаю, но мне кажется, что я сразу уловил в лице моего соседа сочетание мужественности, даже чуть грубоватой, с лиризмом тонко мыслящего человека. Как я позднее убедился, такими чертами, действительно, отличался Чингис Ильдрым, курд, участник Октябрьской революции на Кавказе, образованный инженер, знаток литературы, человек, многие годы близкий к Кирову, очень привлекательный человек.

Мы недолго были вместе, недолго длилась наша дружба, но все же, я думаю, то была дружба. Такую память я сохранил о Чингисе Ильдрыме, и мне известно, что он тепло обо мне отзывался в беседе с заключенным, которого я позднее встретил в лагере.

На второй день после моего прибытия в Суханово, за мной пришли конвоиры. В Суханове, в отличие от других тюрем, одного заключенного сопровождали не два, а три конвоира. Двое держали меня по бокам, а третий подталкивал меня сзади. Так меня то ли повели, то ли понесли вниз по лестнице и через двор привели к зданию церкви; внутри церковь оказалась поделенной высокими перегородками на сектора. Конечно, я был не в состоянии уловить, на сколько таких помещений было поделено бывшее церковное здание. Меня поместили в самом крайнем секторе с большим окном. Помещение производило впечатление обширной камеры с каменным полом. Камера была совершенно пустая. На полу было несколько окурков. Конвоиры удалились. В здании царил абсолютная тишина. Недоуменно я оглядывался по сторонам. Я решил, что меня поспешно перевели в новое помещение, и сейчас принесут предметы скудной тюремной обстановки. Правда, было неясно, почему меня перевели в новую камеру без вещей. Они остались в голубой темнице. Насколько помню, я не двигался и растерянно стоял на месте в ожидании дальнейших событий. Особенно долго ждать не пришлось. Дверь раскрылась и вошло несколько человек: капитан Пинзур, с которым мы в октябре 1939 года обменивались мрачными остротами при первом оформлении протокола об окончании следствия, мой следователь — младший лейтенант Гарбузов и несколько неизвестных; позднее я узнал, что один из них был начальник тюрьмы.

Я вопросительно глядел на вошедших. Капитан был явно весело настроен, а Гарбузов взволнован. «Вот где довелось встретиться, Гнедин», — сказал он смущенно, как если бы до того мы с ним виделись в совершенно нормальной обстановке.

Меня бросили наземь и принялись избивать дубинками, такими же, какими избивали предыдущей весной во Внутренней тюрьме. Я уже описывал технологию этой страшной процедуры. Незачем здесь снова пускаться в подробности. В 1939 году Берия, Кобулов и другие палачи, избивая меня, предъявили мне недвусмысленные требования, добивались определенных необходимых им живых показаний. На этот раз капитан Пинзур, знавший, что от меня ничего не удалось добиться, ограничивался призывами одуматься и поскорее дать какие-либо показания; ему явно было безразлично, в чем я признаюсь. Иногда он делал короткую паузу и задавал мне какие-либо несущественные вопросы, не допуская, од-

нако, чтобы я, отвечая, встал на ноги. Когда капитан передал дубинку лейтенанту Гарбузову, тот вздрогнул и вернул дубинку своему начальнику. Чтобы замять этот эпизод, не ускользнувший от моего внимания, капитан, лишенный стыда и совести, воскликнул: «Видите, Гнедин, вы так противны вашему следователю, что он не хочет даже к вам прикоснуться!». Но я-то понял, что лейтенант был не в состоянии поднять на меня руку. Я приободрился. Тогда начальник тюрьмы проявил инициативу, заметив, что я сохраняю самообладание и, следовательно, избияния недостаточно эффективны, он подал совет: «Носочки бы снять» (меня били по пяткам).

После нескольких часов избияний меня вернули в камеру. Но вскоре (очевидно, палачи подзакусили) меня снова отнесли в церковь и снова несколько часов пытали. Я не сдавался, хотя и сильно страдал. Когда к вечеру я был возвращен в камеру, то уже не мог сидеть, а лечь было негде. Мне ничего не оставалось как стоять лицом к стене. Чингис Ильдрым пытался меня успокоить, отвлечь разговором, но потом замолчал. Прошло несколько часов. И вдруг поздно вечером за мной пришли конвоиры. Меня охватил ужас. «Теперь я уже не выдержу», — подумал я. Не то, что я решил сдаться, но мне казалось, что я никак не смогу выдержать новые удары по израненному телу. Это мои переживания — хорошая иллюстрация того, что существует предел выносливости. Впрочем, я не знаю, сломили бы меня даже новые истязания. К счастью, до ночных пыток дело не дошло. Сойдя на первый этаж, конвоиры неожиданно для меня свернули по коридору, спустились на уровень полуподвала (это меня основательно встревожило), но затем поднялись по внутренней лестнице в коридор, очевидно, пристройки, и втокнули меня в кабинет, где за столом, освещенным настольной лампой, сидел мой следователь младший лейтенант Гарбузов.

Скрывая чувство облегчения, Гарбузов приступил к обычному допросу. Первый вопрос был явно облечен в такую формулировку, по которой впоследствии можно было установить, что протокол составлен вслед за «допросом с пристрастием». Во всяком случае ни прежде, ни позднее в протокол не вставлялось серии таких выражений, как «следствие располагает неопровержимыми данными, настойчиво требует» и т.п. На эти «настойчивые требования» я отвечал с обычной твердостью, что никаких преступлений не совершал и ни в чем не виновен. Следователь спокойно записал мой ответ, как если бы он не присутствовал при том, как меня силой вынуждали признать себя преступником. Чтобы зафиксировать вопрос, сформулированный в особенно категорических выражениях, и мой ответ на этот вопрос был составлен протокол от 26 июня 1940 года. Но для порядка следователь записал еще несколько вопросов и ответов...

...Когда процедура протокола закончилась, я с внешне безмятежным видом спросил следователя, когда переведут деньги в ларек тюрьмы, в которой я нахожусь. Я хотел выяснить, оставляют ли меня в «Сухановке» и окажусь ли я здесь в обычных тюремных условиях. Ответ следователя, не ожидавшего, что я как ни в чем не бывало заговорю о деньгах на «лавочку», был в каком-то смысле успокоительным: «Ну, не сразу, через несколько дней переведут деньги».

Первые недели после избияний были очень мучительными. Дело в том, что в конце июня и в июле 1940 года стояла необыкновенная жара. Тот, кто

живал на московских дачах, знает, что на верхнем этаже старого здания непосредственно под железной крышей, да еще в непроветренном помещении в знойные дни становится нестерпимо жарко. Именно так обстояло дело в нашей камере. Я обливался потом, и горячие капли, затекая в открытые раны, вызывали жгучую боль. То были пытки, незапрограммированные следователем. Я стоял лицом к стене, пот лился по спине и слезы по лицу.

Физические страдания лишили меня самообладания. Но и было от чего прийти в отчаяние. Да, после того, как я в очередной раз устоял под пытками и защитил свою невиновность, я не испытывал чувства торжества, я был в ужасе. Я был в ужасе. Я был в ужасе от того, что оказался лицом к лицу с чудовищной несправедливостью и беспощадностью. Сознание безнадежности моего положения причиняло мне в те дни большие страдания, чем даже физические мучения. В самом деле, на предыдущих этапах следствия я себя защитил, никого не очернил, может быть, даже кое-кого уберег от катастрофы, и каков же результат? Я понимал, что мой перевод в особорежимную тюрьму и избияния имели лишь одну простую цель: довести до конца мое дело в соответствии с требованием начальства, то есть погубить меня.

Чингис Ильдрым пытался меня успокоить. «Вы так хорошо держались эти дни, — говорил он мне, — как же теперь у вас сдали нервы?». Действительно, в день пыток я сохранял внешнее спокойствие и в перерыве между «церковными бдениями» даже старался выслушать или делать вид, что слушаю рассказ соседа об устройстве домы. Когда же противостоят палачам уже не нужно было, воля ослабла. Лишь постепенно я пришел в себя и освободился от ощущения бессмысленности моей борьбы с палачами.

Чингис Ильдрым вызвал в камеру фельдшера и пожаловался на то, что из-за постоянного сидения на табурете у него распухли ноги. Возможно, он хотел, чтобы и мне была оказана помощь, ведь я был в гораздо худшем состоянии, чем мой сосед. Но я жалоб не заявлял. Фельдшер осмотрел ноги моего соседа, окинул меня взглядом знатока (я был обнажен по пояс) и изрек, обращаясь к нам обоим: «В медицинской помощи надобности нет».

Я нуждался не столько в медицинской помощи, сколько в моральной поддержке. Такую помощь мне оказал Чингис Ильдрым. Мне не нужно было, чтобы он выслушивал историю моего дела или рассказывал мне о своем деле. Мы с ним вовсе не говорили о следствии, предъявленных обвинениях, ходе дела, то есть обо всем том, о чем часто и чрезмерно много рассуждали заключенные в камере. Мы оба по возможности избегали этих тем. Именно поэтому, когда Чингис Ильдрым разговаривался, его интересные рассказы явились для меня ощутительной поддержкой.

Чингис Ильдрым был первый и, кажется, единственный курд в СССР, получивший высшее образование. Он окончил технический вуз в Ленинграде, а до того он участвовал у себя на родине, на Кавказе, в борьбе за Советскую власть. Из его слов можно было понять, что он весьма популярен среди советских курдов.

Теперь я узнал, что Чингис Ильдрым в годы гражданской войны находился в бакинском большевистском подполье, державшем связь с С.М.Кировым,

побывал первым наркомвоенмором Азербайджана и наркомом путей сообщения. Обо всем этом Чингис Ильдрым мне не рассказывал.

Ильдрыма арестовали в 1937 году; мы с ним встретились, когда его тюремный стаж превышал два года. После пыток его долго держали в общей камере в Бакинской тюрьме; камеры были переполнены и их соединял общий коридор. Заключенные воспринимали как сенсацию то, что можно увидеть Чингис Ильдрыма, и ходили в камеру, чтобы на него поглядеть. Однажды, когда он лежал на каменном полу, над ним наклонился курд, бывший крупный помещик, и сказал: «Хорошо, что мне удалось увидеть тебя здесь». Для озлобленного врага Советской власти было минутой торжества то, что в тюремной камере рядом с ним находился в заточении идейный революционер...

...Чингис Ильдрым, которому пришлось быть начальником Магнитостроя, рассказывал об Орджоникидзе и его стиле работы; известно, каким уважением, да и любовью пользовался Орджоникидзе у близких к нему работников индустрии.

Чрезвычайно интересным было все, что Чингис Ильдрым рассказывал о Кирове. Правда, он избегал определенного указания на то, когда и на какой работе он сотрудничал с Кировым. Чингис Ильдрым подозревал, что нас подслушивают, и не хотел касаться тем, которые, очевидно, использовались следователями, ведшими его дело, для провокационных и клеветнических обвинений. Попросту говоря, Чингис Ильдрым был арестован и обречен на мучения именно потому, что был близок к Орджоникидзе и в дружбе с Кировым.

Именно по той причине, что Чингис Ильдрым был весьма осторожен и сдержан, воспринимались как убедительное свидетельство очевидца те его замечания, из которых было ясно видно, что Киров относился без особой симпатии и даже настороженно к правящей верхушке и, следовательно, к Сталину, хотя это имя Чингис Ильдрым не упоминал. Я запомнил рассказ Чингиса Ильдрыма о том, как Киров приезжал в Москву из Ленинграда, когда Ильдрым уже жил в Москве. Киров предупреждал друга о своем предстоящем приезде и тот встречал Кирова на вокзале. Обычно Киров не садился в присланную из Кремля машину, а на газике приятеля-хозяйственника отправлялся к нему закусить и выпить. Если Кирова не ждали к определенному часу, то они с Ильдрым ходили в Сандуновские бани, парились и беседовали. Это было их любимое совместное времяпрепровождение в Москве. Можно легко догадаться, что в парной друзья говорили по душам; возможно, Киров информировался о московской жизни, а, может быть, наоборот, в беседах с другом отдыхал от серьезных дел перед тем, как отправиться на свидание с диктатором.

Вот какими историями развлекал меня друг Кирова в камере особорезимой секретной тюрьмы, из которой никто не надеялся выйти на свободу, да и вообще выйти живым...

Мы пробыли вместе с Чингисом Ильдрым недели две. Наступил грустный день, когда его вызвали из камеры с вещами. Он собрался очень быстро, очень взволновался и, уже выходя, в дверях, обернулся, чтобы проститься, Я навсегда запомнил совершенно белое лицо и черные как угли глаза.

Я остался один. Начался годичный период пребывания в голубой темнице, тринадцать месяцев без прогулок...

...«Законсервированных» заключенных редко вызывали на допросы. Месяца через два после избивания меня вызвал младший лейтенант Гарбузов, видимо, только чтобы на меня посмотреть. Еще через несколько месяцев, в середине зимы, счел нужным взглянуть на меня капитан Пинзур. Он прочитал мне адресованное на мое имя как заведующего Отделом печати, но полученное после моего ареста, письмо Марты Додд, дочери бывшего посла США в Германии, известной антифашистской писательницы. Капитана не интересовало содержание письма, и он, очевидно, захватил его с собой, предполагая, что его развлечет моя реакция на адресованное мне письмо. Капитан ни словом не обмолвился о положении моего дела, а я — насколько помню — не стал спрашивать. Происходило это глубокой ночью. Видимо, я счел бессмысленным задавать вопросы, вероятно, я думал лишь об одном — не угрожают ли новые пытки, а, возможно, я просто был пассивен после многих месяцев изоляции.

Ранней весной, уже 1941 года, мой следователь Гарбузов, вызвав меня, завел мирный разговор, пытаюсь уловить, представляю ли я после двух лет тюрьмы, что происходит в мире. Тогда я удивил его, изложив ему два варианта возможного (но неизвестного мне) выступления Германии на Западе; лейтенант невольно информировал меня о подлинном ходе дел, воскликнув по поводу одного из моих прогнозов: «Так это же правильно!». Моя последняя встреча с Гарбузовым происходила уже поздней весной 1941 года, незадолго до суда (чего я, конечно, не знал). На этот раз молодой следователь был со мной неожиданно груб, по поводу какой-то моей реплики поднял крик, явно рассчитывая, что в соседних помещениях его коллеги услышат, как грозно он со мной разговаривает. Я сказал лейтенанту, что он впервые груб со мной, а это не способствует моему уважению. Он замолчал и расстался со мной, вероятно, уже зная, что мы никогда больше не встретимся, даже если я останусь жив.

То, что заключенного помногу месяцев не вызывали на допрос, могло быть и облегчением, учитывая обычный характер «допросов». Но когда при строгой изоляции отсутствовал личный контакт, хотя бы со следователем, заключенный вовсе терял представление о времени и перспективу собственного бытия. Парадоксально, даже трагично: встречи со следователем были для заключенного важной формой контакта с миром. Отсутствие допросов обостряло ощущение полного отрыва от жизни.

За тринадцать месяцев у меня было (не считая встречи с Чингисом Ильдрымом) трое соседей, из них двое — провокаторы...

...Контакт с соседями был каждый раз недолгим эпизодом, лишь усилившим ощущение полной изоляции. Помню, в тоске я говорил себе: «Вот было бы счастье, хотя бы только утром и вечером перебраться с кем-нибудь парой слов пустышного содержания». Иной раз мне удавалось, став на табурет и подтянувшись на руках, взглянуть в щель между полуоткрытыми форточками во внутренней и наружной раме. Я видел, как вдалеке в роще под дождем торопливо шли люди. Я думал: а ведь они озабочены повседневными житейскими

делами и не понимают, что они счастливы. Оказавшись после суда в июле 1941 года в Бутырках, я откликнулся на вызов желающих идти убирать камеры (уже началась эвакуация тюрем). Зайдя в пустую камеру, где еще стояли железные койки, валялись шахматы и стопки книг, я, недавний сухановский узник, подумал с горькой иронией, но и с завистью: «Вот люди жили!».

Обычно в сухановской тюрьме царил глубокая угнетающая тишина. Но иногда ее нарушали страшные вопли. Либо по коридору волочили избитого страдальца, либо кричал обезумевший от страха человек. Одно время в соседней камере сидел сумасшедший, монотонно, но очень громко выкрикивавший одни и те же слова. Однажды, когда тюремщики были заняты моим разбушевавшимся соседом, я воспользовался этим, чтобы взобраться на табурет, выглянуть в щель между форточками. Уже была весна, и под окнами тюремного флигеля какая-то незадачливая воспитательница детского сада выстроила ребят для гимнастики. Я разглядывал детишек, которых не видел больше года, а рядом за стеной вопил мой обезумевший товарищ по несчастью: «Позовите моего брата!».

Раз в три месяца меня вызывали следователи, чтобы убедиться, что я еще не сошел с ума.

В основном же мой рассказ посвящен раздумьям, моей интенсивной душевной жизни в секретной тюрьме.

ПОИСКИ ВНУТРЕННЕЙ СВОБОДЫ

Через 20 лет после моего пребывания в Сухановской тюрьме, я, вернувшись в Москву из ссылки, побывал у стен Сухановского монастыря. Медленно обошел я здание, пытаясь заглянуть внутрь, но это было невозможно. У закрытых железных ворот я увидел группу скромно одетых людей с узелками и сумками. На мои вопросы они отвечали уклончиво, но можно было догадаться, что здесь собрались посетители с продуктовыми передачами, терпеливо ждущие, когда их примут. Мимо прошагало несколько солдат внутренних войск. Насколько я мог понять, «Сухановка» была превращена в тюремную больницу. Во всяком случае и на переломе к шестидесятым годам это было по-прежнему зловещее место.

Мрачным было не только здание, но и окружающая местность с глинистой почвой, рвами и канавами, безлюдная.

Я узнал двухэтажное здание, обрамлявшее часть территории бывшего монастыря, постарался правильно сориентироваться и подойти с наружной стороны к тому фасаду здания, куда двадцать лет назад выходило окно моей камеры. Гофрированных стекол уже не было. Со сложным двойственным чувством глядел я на тюрьму, в которой пробыл больше года и подвергался избиениям. Минутами мне было жутко, тревожно, не хотелось задерживаться в этом месте, не хотелось погружаться в атмосферу былых тяжелых переживаний.

Но вместе с тем я испытывал и острое чувство облегчения, почти торжества, как если бы мне только что удалось избежать смертельной опасности, вырваться из рук убийц. Я шагал взад и вперед, касался рукой кустов, наклонялся, чтобы разглядеть крошечный клочок земли, который, как мне казалось,

я видел когда-то через щель форточки. Я приглядывался к купе деревьев, откуда в 1940 году порой доносилось щебетанье птиц. Я наслаждался тем, что я стою вне тюрьмы, я снаружи, я могу ходить по земле, я уже больше не взаперти там, внутри застенка.

Я умер, но остался жив и должен теперь начинать сначала. Таким было состояние духа реабилитированного, вернувшегося на большую землю после шестнадцати с половиной лет пребывания в лагерях и ссылке. Человек восстал из мертвых после гражданской смерти. Он оказался лицом к лицу со всеми теми крупными и мелкими житейскими проблемами, которые ставит перед мыслящим человеком личная и общественная жизнь. Он уже в прошлом решал такие вопросы, но теперь, словно в начале жизни, — новы все впечатления бытия, и он должен искать новые решения.

Сознание нового начала созревало у меня еще в Суханове. В ту тяжкую пору я вовсе не был уверен в том, что выйду живым из застенка. Все же я размышлял над тем, как я построил бы свою жизнь. Я намечал новую линию поведения.

Через много лет, стоя под окном моей бывшей тюремной камеры, я спрашивал себя: действительно ли я принял тогда глубоко продуманные твердые решения, чуть ли не пережил «второе рождение» еще задолго до воскресения из мертвых? Может быть, я там взаперти лишь предавался иллюзиям, думая, что можно обрести подлинную внутреннюю свободу?

Уже не впервые я в этих записках упоминаю о стремлении к внутренней свободе. Заканчивая рассказ о первом полугодии следствия, я даже обронил слова о том, что в строгих размышлениях нашел пути к столь высокому состоянию духа. Говоря так, я взял на себя невыполнимое обязательство. Разве я могу сказать, что такое «внутренняя свобода человека»? Внутренняя свобода разумного существа по Канту? Но я ведь не пишу философский трактат, да и вспомнил о кантианской терминологии только сейчас, записывая свои мысли.

Хотя в сухановской тюремной камере меня весьма занимали философские проблемы (я прочел ряд томов Гегеля), но мне нужно было обдумать жгучие проблемы, которые поставила современная история перед моим поколением. Такой была и проблема внутренней свободы. Она тесно связана с отношением к революции, к великим революционным преобразованиям, но и революционному террору.

Я не мог уйти от этих проблем, когда в 1940-1941 годах в тюремной камере искал путей к внутренней свободе.

В тюрьме внутренняя свобода — это прежде всего способность оставаться самим собой, сохранить в своих мыслях и реакциях на окружающее независимость от влияния тюремщиков, следователей и палачей. Можно это определение распространить и на отношение человека к деспотическому государству и к деспотической идеологии. Он обретает некоторую внутреннюю свободу, если не поддается самообольщению, самообману, не жмет по крайней мере самому себе. Однако все же это — поверхностное, ограниченное определение внутренней свободы, оно — ограниченное по той простой причине, что речь идет о взаимодействии между личностью и тюрьмой (в широком и переносном смысле слова). Узникам далеко до высшей формы внутренней свободы, до подлинной свободы

выбора, отражающейся на поведении человека, на его жизненной линии, вплоть до выбора между жизнью и смертью.

В Сухановской тюрьме, наедине с самим собой, я постиг необходимость по-новому оценить тот выбор, который я сделал в молодости и который определил мою жизненную линию. Я окинул спокойным взглядом пути, пройденные мною вплоть до того дня, когда позади меня захлопнулись тюремные ворота, но я сумел это сделать лишь после того, как преодолел отчаяние, охватившее меня к концу первого года пребывания в заточении. В голубой темнице секретной тюрьмы я пришел в ужас при мысли, что, проявляя мужество, я не спасаю свою жизнь, а то, что я выдержал пытки, никто никогда не узнает. Если я даже совершил подвиг, то, возможно, он был бесплодным.

...Когда на второй год пребывания в следственных тюрьмах меня в Osborne-тюрьме вновь подвергли пыткам, когда я убедился, что и отстаивая свою невиновность, я не добьюсь освобождения, хотя я и выдержал пытки, не дал ложных показаний, все же меня ждут новые мучения, вот тогда обрушилась на меня душевная катастрофа.

«Печаль достигла вершины отчаяния». Я стал думать о самоубийстве. И хотя тогда мне чудилось, что прозвучал голос рока, я теперь понимаю, что то было менее опасное состояние, нежели угнетавшее меня спустя многие годы в ссылке. Дело даже не в том, что в сухановской камере, где заключенный находился чуть ли не под непрерывным наблюдением, было трудно покончить с собой. Как я теперь понимаю, в Суханове я не был охвачен непреодолимой тягой к самоубийству, а я рассуждал об этом.

Высшая степень отчаяния — это самоубийство. Мысль о самоубийстве — тяжкий грех, одинаково и для христианина, и для атеиста. Счастливы мудрецы, способные воспринять конец человеческого пути как переход в новое бытие или растворение во вселенском бытии. Я умом и сердцем воспринимаю самоубийство, отказ от жизни как непомерно мучительный, трагический отказ от единственного оправдания и личности и мира. Мучительна мысль о самоуничтожении, но страшна мысль о том, что самоубийство есть уничтожение мира в целом...

В лагерях, где я пробыл восемь лет (до того два года в тюрьмах), мне ни разу не приходила в голову мысль о самоубийстве. Каждый день был днем борьбы за жизнь; как же, ведя такой бой, думать об отказе от жизни? И была цель — выйти невредимым из испытаний и жила надежда: в полноте сил встретиться с любимыми людьми. Позднее, в ссылке «навечно», часто преобладало болезненное отношение тупика. Сознание было отравлено этим ощущением, особенно чувствительным, когда человеку перевалило за пятьдесят. Вероятно, в ссылке тяга к самоубийству не принимала бы порой маниакальные формы, если бы не отравляющая в буквальном смысле слова: я работал на очень вредном производственном участке, дышал целый день парами сернистого натрия и других химических веществ, и в этой отравленной атмосфере выполнял тяжелую работу (одно время я ежедневно кувалдой разбивал около полутонны каменного сернистого натрия, и это была только часть моего урока, который я перевыполнял). Порой, когда мерещилось, что жизнь окончилась еще до наступления смерти, меня охватывало самое опасное состояние

духа: не продуманное (или еще продумываемое) решение покончить с собой, а бездумная тяга к самоубийству. Именно такая угроза нависала надо мной, когда я находился в ссылке в пустынной местности между Карагадой и Балхашем.

Но и в эти тяжкие дни можно было найти противоядие даже в окружающей действительности, а особенно в книгах. Самая работа, хоть она и подтачивала организм, одно время доставляла мне удовлетворение.

Все эти житейские перипетии не спасли бы меня в конечном счете от гибельного отчаяния в ссылке «навечно». Меня спасла жена. Она приезжала ко мне в центральный Казахстан, жила там подолгу (однажды почти год). Мы прожили там счастливые дни, там в рабочем бараке я под влиянием жены взялся за перо и мы вместе написали повесть. Действие этой вещи развертывалось, в частности, на той самой фабрике, где я работал, и даже близ того места, с которого, оставаясь один, я подумывал сброситься вниз. Ко мне приезжала дочь, и мы с нею совершали веселые прогулки по сопкам, проходили и мимо рокового шурфа, обыкновенной, пустой ямы.

Воистину жизнь цвела по ту сторону отчаяния!

Но задолго до встречи в пятидесятых годах с любимым человеком мне нужно было в одиночестве научиться отличать добро от зла. «Обучение» началось в 1940 году в Сухановском застенке, камера которого была таким местом, где влияние крайней формы изоляции, «сенсорной изоляции», представляло наибольшую опасность для заключенного. На моей психике это сказалось не к концу пребывания в Суханове (тогда я уже жил интенсивной внутренней жизнью), а в первый период. В мыслях я уже перевалил через хребет отчаяния, но на деле, ослабленный физическими страданиями, лишенный книг и прогулок, я в мертвой тишине голубой темницы погрузился в призрак бытия.

Лишенный впечатлений — зрительных, слуховых, не говоря уже о пище для ума, — я по временам переставал быть самим собой. Так, по крайней мере, я теперь оцениваю те мнимые способы преодоления душевной пустоты, к которым я прибегаю в сухановской камере осенью 1940 года. Я стал «дрессировать мух».

Снова, как тогда, когда я в предыдущей книге описывал пытки и когда поведал о своих колдованиях в тот период «следствия с пристрастием», я теперь испытываю внутреннее сопротивление и неловкость. Но, если бы я не стал говорить о неприятных сторонах и последствиях тюремного заключения и лагеря, то мое повествование в целом не было бы правдивым. Ведь я рассказываю о том, как я не сдался, говорю об условиях спасения личности, и такой рассказ может быть поучительным — именно если я скажу о слабости и смятении узника.

Итак, я «дрессировал мух». Попросту говоря, я выбирал из множества мух одну, отрывал крыло и наблюдал, как она прыгает, реагирует на шорохи, отыскивает «колодець» — бумажку, смоченную водой. Замечу, что в этом занятии не было какой-либо склонности к мучительству. Мне и в детстве были чужды, неприятны игры, причинявшие животную боль, мне чужд жестокий охотничий инстинкт. Может быть, признаком «нарушения нормы» как раз и было то, что в сухановской одиночке я относился к «дрессировке мух» как к безобидному, чистому эксперименту.

Спустя тридцать пять лет я могу восстановить в памяти подробности «дрессировки мух»; это свидетельствует о том, какое место эта странная игра занимала в психике заключенного. Он сам был похож на муху с оторванным крылом. Его именно так и дрессировали, чтобы он оставался жив, но не мог нормально передвигаться и при малейшем шорохе замирал.

Примерно тогда, когда прекратились мои «игры с мухами», я осознал, что надо употребить чрезвычайные усилия, чтобы избежать деградации. Некоторое время я колебался, размышляя, что важнее — прогулки или книги? Я принял правильное решение и объявил голодовку, требуя, чтобы мне дали книги. Уже через день явился начальник тюрьмы. Это был тот самый тюремщик, который, когда меня били по пяткам, предложил «снять носочки». Однажды у меня был конфликт с начальником тюрьмы. Войдя в камеру, он заговорил со мной угрожающе; я заявил, что вызвал его не для того, чтобы слушать грубости, и потребовал, чтобы он ушел. Редкий случай: заключенный «выгнал» из камеры начальника тюрьмы. Как бы то ни было, мне не пришлось долго голодать, вскоре мне стали приносить книги в камеру. Более того, нашелся такой мягкосердечный надзиратель, который выслушивал мои заказы и систематически приносил мне том за томом сочинения Гегеля, книги Александра Блока и Герцена. Я с благодарностью вспоминаю этого пожилого рыжеватого человека, небольшого роста, с печальным веснушчатым лицом.

Любопытно — я до сих пор помню, что именно я почерпнул из книг Блока или Герцена, из каких именно произведений, но я совершенно не помню, что дал мне в тюрьме Гегель (кроме знаний, конечно). Мой друг, глубоко мыслящий человек, Михаил Яковлевич Гефтер заметил по поводу этого моего наблюдения, что в огромную замкнутую в себе систему Гегеля есть много входов, но из нее нет реальных выходов в жизнь. Это — остроумное замечание, верное хотя бы потому, что я как раз в тюрьме страстно искал в книгах «выход», эффективный ответ на коренные вопросы бытия и цели.

Когда я получил возможность читать книги, да еще по своему выбору, когда стал размышлять над философскими и поэтическими произведениями, тогда началась жизнь «по ту сторону отчаянья». Тогда я возобновил и мысленные записи в моем лирическом дневнике.

Когда я говорю здесь о «тюремных буднях», я имею в виду не только прозябание, грозящее вырождением, но и трудную «будничную работу» мысли: поиски выходов. Утешение приносили и мнимые выходы, особенно, если казалось, что они дают возможность заглянуть куда-то вглубь или ввысь.

Я, конечно, не хочу сказать, что только в тюремном заключении постигаются роковые проблемы, возникающие в раздумьях о пройденном жизненном пути. Но в тюрьме, да и вообще в вынужденном одиночестве, особенно явственно понимаешь, что мечты не осуществлены, ошибки неисправимы, надежды тщетны и смерть недалека, возможно, в обличьи палача. Но в этих же условиях на душевное состояние влияет своеобразное преимущество узника, находящегося в полной изоляции: хоть он страдает даже в страхе, зато освобожден на время от повседневных забот «быстротекущей жизни», от мелких житейских тягот, от суеты, из-за которой трагедия — по своей сути — может обратиться в комедию — по форме.

Стало быть, в тюремном одиночестве человек, если он владеет своими нервами, может порой мыслить на уровне чистой высокой трагедии. Правда, в одиночестве, погрузившись в размышления, человек может незаметно для себя увлечься и некими абстрактными понятиями, за которыми скрывается доступная людям реальность. Такова была обуревавшая меня в секретной тюрьме жажда бессмертия.

Если бы я был религиозен, я бы обрадовался, что «жив чувством соприкосновения таинственным миром иным» — как говорил русский инок у Достоевского. Не было этого. К сожалению. Несмотря на то, что человек в тюрьме причастен к тайнам бытия больше, чем в повседневной сутолоке.

Я думаю, что страстная воля к бессмертию, томившая душу в одиночном заключении, была и выражением тоски по жизни во всем ее величии и красоте, была вместе с тем игрой ума и защитной реакцией в застенке. С этой точки зрения мои попытки в тюрьме выразить в словах мечты о бессмертии — форма поисков выхода из тупика.

...Итак, рассказ о тюремном тупике, начатый зловещим изречением «Змея есть змея, тюрьма есть тюрьма» и посвященный в значительной своей части опасным сторонам пребывания в особорежимной тюрьме, — я заканчиваю рассуждением о высокой трагедии и общечеловеческой радости.

Такой ход повествования отражает развитие моего душевного мира во время долгого пребывания в Сухановской тюрьме. Тюремщики вряд ли были способны понять, каким образом эпитет «особая» может приобрести иной смысл, чем тот зловещий, который они ему придавали. Действительно, рассказывая о моих мечтаниях в одиночке, я описываю особое состояние, но не состояние деградации, которого добивались тюремщики, а наоборот, поиски выхода из тупика. Правда, мечты о бессмертии могли быть и формой бегства от страшной действительности. Все дело в том, что бежать от нее нельзя было. Скрыться от действительности было невозможно потому, что тюрьма была частью страны (я уже писал об этом). Сухановская тюрьма с ее условиями существования, губительными для личности, была по своей сути типичной для страны и эпохи. Эти аномальные условия не могли бы стать реальностью, если бы эту тюрьму не породил античеловечный режим того времени.

Мои размышления в одиночке были не только поисками выхода из тюремного тупика, но и поисками выхода из огромного лабиринта обмана и самообмана.

В ЛАБИРИНТЕ СРЕДСТВ И ЦЕЛЕЙ

Я вспоминал неосуществленные альтернативы моего жизненного пути и убеждался, что могу изменить направление пути, но не в состоянии изменить итог.

Смысл сочиненного мною в одиночке романа «Жизнь с вариантами» был тот, что все возможные ответвления жизненного пути героя, советского интеллигента, неизбежно должны были завершиться в тюремной камере, где эти варианты были сконструированы. Я и теперь так думаю, но теперь я вижу и допущенную мною в моем романе ошибку. Я открывал перед героем возможность выбора нового пути и образа жизни, но оставлял в силе мировоззрение героя

романа. Мой герой неизменно сохранял убежденность в том, что наступила эпоха благотворной перестройки общества, а Россия положила начало важным историческим переменам в жизни человечества.

Такая приверженность определенной отвлеченной идее, определенному общественному движению, а следовательно, и неким обязательным целям, должна привести и к подчинению средств этим целям; таким «средством» может стать целая жизнь. Но если цели не осуществились или произошла в жизни общества подмена целей, то обесцениваются и средства, тогда может обесцениться жизнь человека.

Я и об этом задумывался. Но когда я сочинял роман «Жизнь с вариантами», меня главным образом занимала мысль, что не только я сам в различных «ипостасях», но и мое поколение в различных ипостасях, многие мои сверстники были обречены стать жертвами произвола и репрессий.

Под этим углом зрения я вкратце изложу некоторые «варианты» моей жизни, которые я придумал в тюремной одиночке в 1940 году.

Впервые я оказался на распутье летом 1917 года, когда умерла моя мать. Была весна революции. А я был совершенно одинок. Вскоре я получил из Петрограда письмо от известного ученого-марксиста Д.Б.Рязанова. В 1917 году он присоединился к большевикам, а когда-то в прошлом был в дружбе с моим отцом, Парвусом, его жена Анна Львовна дружила с моей матерью. Рязановы звали меня в Петроград, предлагая жить у них. Главным образом из-за нежелания начать жизнь в качестве «сына Парвуса» под покровительством его бывших друзей, я отказался принять теплое приглашение Рязановых. Кажется, я им написал, что хочу обрести самостоятельность прежде чем покину Одессу.

Впоследствии я многократно пенял на себя за то, что не воспользовался возможностью увидеть столицу, оказаться в гуще революционных событий. Если бы я жил в Петрограде летом и осенью 1917 года, то, вероятно, в революционной атмосфере уже смолodu стал бы большевиком, а после Октябрьской революции стал бы работником государственного аппарата, верней всего — дипломатического, на несколько лет ранее, чем это было в действительности.

Могло бы случиться, что, приняв предложение Рязанова и поддав под его влияние, я стал бы заниматься марксистской теорией, работал бы в созданном им Институте Маркса-Энгельса. Но тогда при подготовке процесса меньшевиков в 1931 году я был бы репрессирован вместе с Рязановым и его сотрудниками. Еще не было Сухановской тюрьмы, я там не побывал бы, но раньше, чем это случилось фактически (и на больший срок), стал бы обитателем Архипелага ГУЛаг.

Разумеется, я продумывал в тюрьме те поворотные моменты моей жизни, когда передо мной непосредственно стояла альтернатива: вступить в ВКП(б) или нет. В Одессе в первые месяцы установления советской власти я был близок с молодыми коммунистами (а позднее с подпольщиками), мои приятели недоумевали, почему я не вступил в партию. Но я не был убежденным большевиком и не скрывал этого. В начале двадцатых годов петроградские коммунисты, связанные с Политехническим институтом, где я учился, настойчиво уговаривали меня стать членом партии. Я снова не совершил этого шага.

Позднее я осуждал себя за «интеллигентские колебания», а когда я подал заявление о приеме в партию, должен был объяснять, почему я этого раньше не сделал.

(Я стал кандидатом в члены партии, работая в редакции «Известий» в 1931 году, и оставался им, то есть неполноправным членом партии, вплоть до ареста в 1939 году. После возвращения в Москву в 1955 году я добился восстановления меня в звании члена партии; в этих моих шагах сказались логика моей борьбы за полную реабилитацию и снятие всех ложных обвинений. Хотя в 1956 году я уже не склонен был снова стать слугой партии и государства, все же в ту пору я еще не вышел на чистую волю из лабиринта обмана и самообмана.)

Я говорил себе в тюремной камере: был бы я в двадцатых годах полноправным членом партии, я, несомненно, пылко высказывался бы на собраниях. Позднее мне не прошла бы даром свойственная мне в ранние годы склонность выразить свое собственное, неканоническое мнение. Во второй половине тридцатых годов я должен был бы объясняться по поводу того, что говорил и делал в двадцатых годах. Результат был бы тот, что я оказался бы в камере Сухановской тюрьмы еще раньше, чем это случилось в действительности. Правда, добавлю я теперь, при этом «варианте» я после реабилитации как старый член партии получил бы персональную пенсию, в которой мне фактически и незаконно руководство МИД СССР отказало...

В тюремной одиночке сочинение моего романа «Жизнь с вариантами» было довольно увлекательной игрой, и я перебрал множество альтернатив. Из них я здесь упомяну еще только одну, отличающуюся «по сюжету» от других.

Зимой 1919-1920 года, живя при белых нелегально в Одессе, я, используя свои знакомства в разнокалиберной студенческой среде, в частности, с большевистскими подпольщиками, добыл заграничный паспорт для скрывавшегося у моих родственников видного большевика. В Одессе свирепствовал белый террор, и моему знакомому удалось бежать из Одессы на пароходе, шедшем в Константинополь. Мой знакомый уговаривал меня уехать за границу вместе с ним. Он располагал большими средствами и готов был ссудить деньги на «покупку» еще одного заграничного паспорта. Возможно, зная, что я сын Парвуса, он надеялся, попав в Германию, использовать то обстоятельство, что с ним прибыл сын знаменитого миллионера. У этого большевика были авантюристические наклонности. Я решительно отказался уехать вместе с ним. Я вовсе не намерен был покидать Россию.

И вот в 1940 году, в Сухановской тюрьме, я попытался представить себе, как сложилась бы моя жизнь, если бы я выбрался в 1919 году за границу. Состоялась бы встреча с отцом; в силу моего революционного идеализма я не сошелся бы с ним близко, даже если бы первоначально меня привлекли блага богатой жизни. Продумывая этот вариант, я пришел к выводу, что, оказавшись в Германии, юноша, выросший в России, связался бы с немецкими коммунистами. Во всяком случае, я не остался бы в стороне от рабочего движения. Революционная идеология, воспринятая мною с детства, определила бы мое поведение в капиталистической стране. Позднее я включился бы в антифашистскую борьбу. После прихода гитлеровцев к власти меня постигла бы судьба многих антифашистов: либо я погиб бы от рук фашистских палачей, либо, пробравшись в СССР, стал жертвой сталинских палачей.

Когда в тюрьме я сочинял этот «вариант жизни», то представлял себе, что вероятнее всего я еще до тридцатых годов связал бы свою судьбу с Коминтерном, вернулся бы в СССР.

То был наихудший из придуманных мною в тюрьме «вариантов» моей жизни. Когда находившиеся за границей молодые революционеры или русские патриоты добивались возможности въезда в СССР или шли на работу в зарубежные советские учреждения, они чаще всего имели дело с заграничными агентами «органов» и оказывались навсегда с ними связанными. А это — роковая и безысходная зависимость. Во времена террора таких людей арестовывали ранее других и не выпускали на свободу. Меня такая судьба миновала.

Конструируя в одиночке не осуществившиеся альтернативы моей жизни и продумывая прошлое, я то пытался обрести утешение, а порой и приходил в ужас при мысли, что следствие и обвинение построены на сочиненном следователями чудовищном «варианте», не имевшем ничего общего ни с реальным ходом моей жизни, ни с упущенными ее альтернативами. Так что придуманная мною игра служила мне слабым утешением.

* * *

Когда я полтора десятка лет назад приступил к составлению «Записок», то пытался объяснить поведение юноши, который, не задумываясь, отдал советскому государству богатое наследство. Я воспользовался таким понятием, как «эпохальный характер». Видимо, я тогда почерпнул этот образ у Герцена. За прошедшие годы я имел возможность снова продумать понятие, занявшее определенное место в моей книге. Поскольку я намерен и далее им пользоваться, я теперь сделаю некоторые пояснения.

Наиболее распространенное представление — присущее и Герцену — сводится к тому, что люди определенного поколения или социального круга в своем самосознании и поведении ориентировались на некий «исторический характер», как правило, воспринятый из литературы.*

Таковыми эталонами были байронические характеры, были герои Чернышевского, немецкие романтики и др. Во введении к моим воспоминаниям я сказал, что мое мировоззрение сформировали два сильных течения идейной жизни — революционная социалистическая идеология и гуманная русская литература. Тем самым обозначено «поле воздействия», материализовавшееся в различных исторических характерах.

Однако я только отчасти имел в виду эти влияния, когда говорил, что на моем поведении сказались то, что иногда называют «эпохальным характером». Я имел в виду не ориентацию на исторический характер, а нечто иное, когда пояснял, что в переломные исторические периоды поведение вовсе не «исторических» персонажей может определяться общественными переменами и даже мировыми событиями. Добавлю к сказанному, что такое явление возможно только при таких условиях общественной жизни, когда люди осведомлены о том, что

* Мне удалось глубже разобраться в этом вопросе благодаря книге Лидии Гинзбург «О психологической прозе».

происходит на широком, даже мировом, пространстве, а не только в определенном углу одной страны. В таких условиях выросли многие поколения, «Эпохальный характер» сложился у представителей моего поколения, вся жизнь которого прошла под знаком назревающего или совершившегося перелома в мире, в обществе, в индивидуальной судьбе. К тому же, в той среде, к которой я принадлежал, отношение к общественным переменам и просто международным событиям всегда приобретало субъективную, эмоциональную окраску. Именно благодаря этому складывался «эпохальный характер» или, если угодно, определенный стереотип поведения. Мне кажется плодотворной вот эта гипотеза о сходном механизме поведения людей, которые не просто подражают вольно или невольно историческим или литературным героям, а находятся во власти представлений и эмоций, внушенных самой эпохой, «музыкой времени».

Я не хочу приукрасить близкий мне «эпохальный характер». Присущий ему, определяемый воздействием мощных общественных факторов, механизм поведения срабатывает по-разному, ему был свойственен далеко не одинаковый коэффициент полезного действия. Ведь индивидуальные судьбы складывались по-разному. Если пыгаться определить доминанту различных «эпохальных характеров» в первые годы революции, то их созвучие обнаружится даже у людей, политически принадлежавших противоположным лагерям. Я рискую вызвать гнев и возмущение у представителей обоих этих политических лагерей, но все же скажу: были общие «эпохальные черты» у тех, кто, самоотверженно сражаясь, видел смысл своей жизни в революционном обновлении России, и у тех, кто ставил на карту жизнь, спасая Россию от революции. Более того, один и тот же человек мог на одном этапе пути с чистой душой сражаться на одной стороне и в другой период своей жизни чистосердечно прийти к выводу, что он обязан служить иным идеям. В обоих случаях такой человек не изменял своему «эпохальному характеру» и готовности служить отвлеченной идее.

На самых различных уровнях советского общества люди свою профессиональную работу (имевшую для них самодовлеющее значение), а многие всю свою жизнь связывали с борьбой за некие высшие отвлеченные ценности и далекие цели. Безоговорочное одобрение правоты общих принципов и фанатичное признание необходимости приносить жертвы и требовать жертв во имя этих принципов и крупномасштабных планов — таковы важные черты психологии, складывавшейся в первые годы революции. Но и в период мирного строительства, когда Маяковский сказал, что он наступал на горло собственной песне, он выразил мировосприятие нескольких поколений людей, превративших свою жизнь — продуманно или автоматически — в средство достижения обществом неких высших целей. А Маяковский, как известно, покончил с собой...

Тут-то я в своем повествовании оказался у входа в лабиринт средств и целей, из которого я искал выход, находясь в тюремной камере. Как бы ни складывались судьбы «героев моего романа», на их жизнь и психологию наложила отпечаток та общественная эволюция, по ходу которой, в силу иронии истории или «хитрости мирового разума» (по Гегелю), происходили и перерождение средств и подмена целей. От того и пришлось плутать в лабиринте.

Процесс общественного развития определял и динамику развития характеров. Пора сказать (не отрицая генетической предопределенности), что «эпохальный характер» не есть постоянная величина. К новым средствам и целям необходимо было подгонять механизм поведения. Долго еще действовала инерция самоотверженного участия в жизни общества. Однако это уже не было вольное служение великой идее, а служба на потребу государства. Позднее давало себя знать корыстное приспособление — как в силу вырождения «эпохального характера», так и в силу выхода на арену совсем новых персонажей.

Решусь сказать: по мере эволюции системы люди становились хуже. Для определения этого процесса нет общезначимого мерила, нет эталона, от которого можно было бы вести отсчет. Но можно прибегнуть к модели. Таковы примеры того, как портились, вырождались люди в сталинском «исправительно-трудовом лагере», в этом сколке страны.

В лагере каждый заключенный в какой-то мере, какой-то стороной своей жизни менялся в худшую сторону. По давню — люди с опустошенной душой. Человек, и не бывший ранее крупным начальником, но по природе своей склонный навязывать другим свою волю, охотно выступал в роли лагерного командира, хотя бы на самой нижней ступени. Наоборот, мягкий, слабовольный человек в лагере быстрее опускался, соглашался, чтобы им помыкали, чего в нормальных условиях он не позволил бы. Тот, кто до лагеря исключительно из осторожности соблюдал правила честного поведения, превращался в развязного хапуна и взяточника. Злой человек давал волю своей злобе, трусливый обрастался в тряпку. А уж подхалимы становились «шестерками» и стукачами.

Пожалуй, наибольший материал для обобщения дает наблюдавшаяся в лагерной обстановке комбинация двух, казалось бы, противоположных черт и склонностей: готовность приказывать и готовность повиноваться. Лагерник, охотно помыкавший теми, кем ему было поручено распоряжаться, с таким же усердием безоговорочно, слепо повиновался сильнейшему, а тем более начальнику по должности.

Сказанное не есть отступление в область социологических теорий. Последовательность в моем изложении требовала, чтобы я сказал об этой дурной двойственности как черте «эпохального характера», пришедшего на смену описанному мною в моих воспоминаниях. Тем более надо было сказать, что и я сам претерпел определенную эволюцию, в чем отдал себе отчет еще в тюремной камере.

Приведенная мною модель есть концентрация определенных черт, это структура, имеющая общее значение, но остающаяся абстракцией, пока не приняты во внимание общественные условия и господствующая идеология. Об этих условиях уже сказано. Важная сторона пагубной эволюции: выстраданное, продуманное мировоззрение превращается в прокламированную жесткую идеологию. Такая ситуация как раз и способствует эволюции характеров в худшую сторону. Судьба моих сверстников — свидетельство того, что фанатизм, одержимость революционными лозунгами может породить и бесплодное бескорыстие и беспощадную жестокость. Если идеология требует от граждан безоглядной дисциплины, насаждает ненависть и страх, то бескорыстие становится редкостью, а душевная тупость и даже жестокость все более распространенной чертой.

Как далеко в своем изложении я ушел от обрисованного в начале главы «эпохального характера»! Между тем я должен сделать еще один существенный шаг в своих рассуждениях, сказав о связи между преданностью, отвлеченной идее, далекой, неясной цели, и отношением к средствам достижения цели. Чем настойчивее прокламировалась цель, тем легче сознание людей приспособлялось к мысли, что цель оправдывает средства. Этот аргумент не раз в жизни советского общества приводился, можно сказать, «открытым текстом». Это еще не было нечаевщиной (если не касаться психологии проводников репрессий), но в этом было кое-что от психологии Раскольникова. Согласие с тем, что благая цель может оправдать дурное средство, было лишь одной из первоначальных форм обмана, заводящего в тупик. Следующая стадия обмана и самообмана наступала тогда, когда преданные слуги государства, да и обывательская масса, мирились не только с применением аморальных, незаконных средств управления страной, но постепенно научились скрывать от себя, а вернее принимать как свершившееся смену самой цели, к которой стремилась система, двигалось государство...

...Повествуя о заблуждениях прошлого и о том, как открывается путь к столь труднодостижимой внутренней свободе, я в самом процессе изложения совершаю поиск выхода из лабиринта. На этой стадии я оказался перед необходимостью преодолеть противоречие. Я только что сказал, что человек способен выдержать испытания, если сохраняет верность близким ему моральным и общественным ценностям. Но ведь на протяжении всего рассказа я настойчиво указывал на отрицательные последствия привязанности к отвлеченным идеям, далеким целям, непререкаемым принципам. Как сочетать эти два утверждения?..

...Я вспоминаю, как в тюрьме меня одолевали сомнения в правильности выбранного мною пути, но тогда я не усомнился в справедливости революционных идей, мною владевших, хотя уже созревали сомнения в благотворности революционного действия. Я уже тогда подверг сомнению историческую роль советского государства. Задолго до ареста меня, как и многих других моих современников, не оставляло чувство допущенной ошибки, тревожная мысль, что мы живем иначе, чем мечтали и к чему стремились в начале сознательной жизни, и что общество совсем не такое, каким мы его желали бы видеть. Все же это еще было одной из форм самообмана. Человек тешился мыслью, что он предостерег себя от приспособления к господствующим идеям, к эпохе, а в действительности он оставался продуктом общественного развития.

И в тюрьме я не переставал быть «продуктом эпохи». Я винил себя за то, что включился в бюрократическую систему. Но бюрократической косности я противопоставлял революционное новаторство. Мне еще не открылось, что бюрократический тип («авторитарный характер») с его вкусом к командованию и навязыванию своей воли наряду с готовностью слепо подчиняться, что этот непривлекательный человеческий тип есть не только порождение бюрократического аппарата, но его может породить и участие в фанатичном революционном действии.

Я полагал, что, если раскрыть тайну бюрократизации, то можно возродить творческое революционное начало.

Я и сейчас не могу справиться с этой дилеммой. Кризис моего мировоззрения еще не окончательно преодолен.

В самом деле, я склонен взять под защиту революционный характер. Задача не простая и вызывающая у меня внутреннее сопротивление, когда я думаю о том, что «революционерами» объявляют себя на Западе оголтелые, озверевшие экстремисты, настоящие преступники против человечности.

Характер, толкуемый мною в положительном смысле, не проникнут духом ненависти, он должен быть лишен фанатичной узости и догматической ограниченности. Я напоминаю, что из истории человечества и из индивидуальных судеб неустрашим тот плодотворный революционный новаторский дух, который одновременно и есть дух трагедии. Яркими подтверждениями этой мысли богата всемирная история и литература.

По многим причинам в советском обществе не в чести воспетый и осмеянный, плодотворный и губительный, рвущийся к звездам и погрязающий в земной трясине революционный характер, идеалист, революционный романтик. К нему сейчас в советском обществе относятся с гневом и осуждением пылкие молодые люди, отвергающие косную государственную систему, и со злобной иронией — самодовольные охранители системы; революцию отрицают и благородные противники насилия, и корыстолюбивые бюрократы, опирающиеся на насилие государственной власти.

Между тем ряд лет мятежные настроения были в нашей стране массовым явлением, когда возникли надежды, что Россия, вступив на путь революции, исполняет историческую миссию. Независимо от таких «космополитических» чаяний, в те годы революционные характеры сложились в различных слоях общества, в особенности в рабочей среде, но и в крестьянстве, когда казалось, что осуществимы давние ожидания справедливого передела земли. Мечта о справедливости сочеталась с революционностью...

Так рассуждаю я теперь, хладнокровно нанизывая аргументы и контрдоводы. Но в то время, о котором я пишу, все эти проблемы день-деньской в одиночке занимали меня, волновали, тревожили. В тюрьме общественная трагедия стала личной. Разумеется, так бывает и за пределами застенка. Это прекрасно знакомо людям моего поколения. Я как-то отметил для себя слова Ницше, смысл которых был тот, что правда открывается, только если вся история воспринимается как лично прожитая, как результат личных страданий. Так было, когда я оказался «по ту сторону отчаянья». Я описываю пережитое мною в исключительно мрачных и опасных условиях и вправе сказать, что была «экзистенциальная крайняя ситуация», когда может открыться истина. Поэтому я и решил использовать такое понятие, как «второе рождение».

Такое состояние бывает и в переломном отроческом возрасте, и в зрелости, когда человек заново продумывает свою жизнь и ставит простые [«толстовские»] вопросы: «Зачем все это?» и «Что же потом?». В нормальных условиях первый вопрос касается и прошлого, но в особенности настоящего, текущей жизни. «Потом» — это неясное будущее. Между тем в тюремном заключении человек ставит вопросы прошлому: «Зачем все это было?». А «потом», оно, это

«потом», уже наступило в тюрьме. Когда предо мною встали эти вопросы, мое внимание было приковано в первую очередь не к абстрактным общественным или философским проблемам, а в большей мере — к вопросам личной жизни, личного бытия человека, к его личной моральной ответственности.

Я винил себя снова и снова за проявленную в недавнем прошлом душевную замкнутость, за то, что сознательно или бессознательно отказывался от сентиментальности, как порой казалось, слабостей, от поэтического восприятия мира во имя умственной дисциплины, ради трезвости в оценках и решениях, во имя готовности выполнять свой долг перед обществом.

Невозможно по прошествии многих лет и в совершенно иной обстановке воспроизвести пережитое мною душевное состояние. Приведу запись в лирическом «дневнике» тех дней.

Тогда, в тюремной камере, я вспомнил написанные мною в тридцатых годах стихи, озаглавленные «Глаза горбуна»...

ГЛАЗА ГОРБУНА

*В глазах под нахмуренным лбом
Тревожное воспоминанье,
Встает пограничным столбом
Непройденное расстоянье.
Неотвратимое прощанье
Легло на памяти горбом.
С самим собою расставаясь,
Растроган строгостью своей,
Готов шагать, не отрываясь
От марширующих людей.
Законный горб лежит прилажен
К привычной ко всему спине.
Мой долг — мой горб. Он нужен, важен,
Он дан самой природой мне.
Друзья мои, не смейтесь, верьте:
От слабостей и от обид
Мой горб меня до самой смерти
Щитом надежным защитит.
А долгу преданная память
Следит настойчиво за мной,
И жжет меня сухое пламя
В горба коробке костяной.
Огонь сильнее и горб тяжеле,
Растет упорство горбуна*

*Навстречу городской метели
Идти без отдыха и сна.
И только боль былой потери
В глазах тоской отражена.*

...И вот в тюрьме я выслушал признание «горбуна», его сетования. Я вслушался в жалобы горбуна, заглянул в глаза, в которых отразилась «боль былой потери», и тогда-то состоялась новая встреча с самим собой.

На свободе я говорил себе, что мой горб есть мой неоспоримый долг, а в тюрьме я с горечью заметил, что мой долг, как я понимал его в прошлом, был на самом деле горбом, пригивавшим меня к земле. Научившись в тюремной пустыне отличать добро от зла, я по-новому оценил готовность при всех обстоятельствах «лично подчиняться общественному» (кстати сказать, формула, которую поразительным образом одинаково использовали и советские, и гитлеровские пропагандисты).

Долг перед обществом (само по себе бесспорное понятие) становится бременем, когда свободная личность не могла уже выбрать свой путь и по собственной воле участвовать в желательных общественных преобразованиях. Революционный романтик был вынужден «расстаться с самим собой» и попал в тента бюрократических обязанностей и самообмана.

Отвергнув догмы, которыми руководствовался, когда был преданным слугой государства, охваченный стремлением прорваться внутрь, в собственное сердце, ... я отверг в темнице отраженные в этих стихах настроения и сделал мысленную запись в дневнике, которую хорошо запомнил и, выйдя на волю, зафиксировал на бумаге.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ ГОРБУНА

*Мне снится новое рожденье,
Дышу вольней, живу смелей,
Хоть слышу грозное хрустенье
Моих расправленных костей.
Я был горбун, я был обязан
Скрыть нежность в тайниках души,
Веревкой к жизни был привязан,
Ее петлей себя душил.
Настало время распрямиться,
Не спину — мысли разогнуть.
Еще тесна моя темница,
Душа уже пустилась в путь.
Мой горб — придуманная тяжесть!
Себя не потерять в пути,
Вот все, к чему меня обяжет*

*Мой долг — пылающий в груди.
Поэт, страданием умудренный,
Наследник трезвого бойца...
Как дорог мне он, вновь рожденный
Сын, не похожий на отца.*

Странно, но и знаменательно: человек жизнелюбивый, сумевший встретить с поднятой головой угрозы палачей, этот человек на воле, среди людей, ощущал себя духовно горбуном, и этот же человек в тюрьме, избитый и загнанный в одиночку, освободился от горба, расправился, поднимаясь навстречу душевному обновлению.

Я освободился от представления, будто надлежит во имя абстрактных дальних целей жертвовать теплом и благами, которые таятся в простых человеческих чувствах и в выполнении долга перед близкими. Вместе с тем я возвращался к непосредственному поэтическому восприятию мира... Я как бы искал сочетания «града земного» с «градом небесным».

(...) Однако в метаморфозе, произошедшей со мной в сухановской тюрьме, была еще одна сторона, относящаяся не к сфере интеллекта, пожалуй, и не эмоций, а скорее инстинктов. Душевный переворот в тюрьме был и проявлением стихийной, органической потребности вырваться из пут, физически выпрямиться. Я и это ясно понял только теперь, в эти годы.

В повести Камю «Падение» описывается пребывание узника в средневековой тюрьме, в одиночке с низким потолком и столь узкой, что человек не мог, лежа, вытянуться. Сухановская одиночка была современным вариантом средневековой. «Непреложным приговором узник был осужден сидеть, скрючившись, день за днем, постепенно сознавая, что его одереvenевшее тело — это его виновность и что виновность — это наслаждение выпрямиться во весь рост...». «Невиновность была превращена в какого-то горбуна!..».

И у Камю — тоже образ горбуна!..

Замечательно, что описание Камю ощущений узника в одиночке есть и аллегория состояния человека, ставшего «горбуном» вне тюрьмы под бременем гипертрофированной ответственности, комплекса вины, ложно понятых обязательств. Я испытал и то, и другое. В Сухановской темнице чисто физиологическая потребность выпрямиться сочеталась с жадной духовной свободой, с возникшим новым представлением о долге человека и смысле жизни. Так стало возможным «второе рождение горбуна».

Радость духовного обновления не была ни мимолетным порывом, ни случайностью. В тюрьме, за шестнадцать лет до возвращения в общество, начался новый период в моей жизни. Было и много отклонений и наслоений. Это неизбежно. Но мое мировосприятие оставалось и остается неизменным.

А в 1941 году эволюция, пережитая мною, имела спасительное значение в самом непосредственном, реальном смысле: я духовно окреп к тому времени, когда надо мной нависла угроза судебной расправы.

ИЗ ТУННЕЛЯ В ТУННЕЛЬ — К ПРОСВЕТУ

Мое пребывание в московских тюрьмах подошло к концу летом 1941 года. Тогда тема «тюрьма и страна» воспринималась мною в трагическом свете войны.

...К эвакуации Сухановской тюрьмы приступили еще до начала войны. (...) Каждый день мы настороженно прислушивались к тому, как хлопают двери камер и заключенных увозят неизвестно куда. Мой сосед (в мае 1941-го меня из одиночки на втором этаже, где я пробыл год, внезапно перевели в камеру на первом: там я застал другого заключенного — моим новым соседом был провокатор Федор Крейнин) находился в постоянном волнении днем и ночью. И у меня зародилось подозрение, что в Суханове действительно приступили к «ликвидации» подследственных, до того находившихся «на консервации». Но именно потому, что провокатор старался вселить в меня страх, я не поддавался панике. Однажды на рассвете сосед разбудил меня: «Сейчас наша очередь, нас будут выводить на расстрел». Я помню свой ответ, но не решился бы его здесь привести, если бы Крейнин позднее в лагере не рассказывал о нем, сопровождая ироническими комментариями. Когда он меня разбудил, я сказал: «Вы не уполномочены будить меня перед расстрелом. Это делают те, кому поручено».

Наконец, 7 июля 1941 года в камере появился начальник тюрьмы (тот самый, который присутствовал при избиваниях и которого я «выгнал» из моей камеры). Начальник тюрьмы принес с собой для каждого из нас копию обвинительного заключения. Он не оставил его, а только давал прочесть и расписаться в том, что подсудимому известно его содержание.

Документ, называвшийся обвинительным заключением, занимал одну или полторы страницы (не помню точно). В нем упоминались кое-какие лживые показания о моей мнимой «преступной деятельности», и на этой основе было сформулировано обвинение по самой страшной статье: 58, 1-а, то есть — государственная измена. Грозный вывод в документе, имеющем характер пустой отписки.

Помимо лживости по существу в документе были явные упущения формального характера, из-за которых он в мало-мальски нормальных условиях не имел бы никакой юридической силы. «Обвинительное заключение», показанное мне в тюремной камере в июле 1941 года, было датировано апрелем 1940-го; со времени его утверждения протекло более года; оно было составлено в Лефортове до нового возобновления допросов, и мне его предъявили без того, чтобы было оформлено окончание следствия; итоги этого нового этапа и «физического воздействия» нигде не были отражены. В обвинительном заключении говорилось, что я содержусь в Лефортовской тюрьме, а я уже год находился в Суханове. Наконец, я заметил, что в обвинительном заключении был указан не тот номер дела, какой значился на следственном деле, предъявленном мне при первом и втором «окончании следствия».

(...) Прочитав внимательно «обвинительное заключение», я отказался на нем расписаться, как того требовал начальник тюрьмы. Я сделал на документе надпись, в которой перечислил его дефекты, и добавил, что оно не имеет законной силы. Начальник тюрьмы уже знал, с кем он имеет дело; его не удивила моя выходка. Он спрятал документ в карман и сказал, усмехаясь:

— Эта бумага останется у меня.

Вскоре после визита начальника тюрьмы за нами пришли конвоиры. Вместе с ошалевшим Крейниным меня вывели во двор. Трудно было избавиться от мысли, что, возможно, я вскоре расстанусь не с тюрьмой, а с жизнью. Я запомнил ветвистое дерево с густой листвой у самого выхода из тюремного корпуса. Больше я, кажется, ничего не успел заметить. Нас посадили в «воронку». Машина уже была заполнена, и мы оказались в узком проходе между камерами, на которые внутри была разделена машина.

Я мог думать, что смертников не вывозят из Сухановской тюрьмы, так как именно там приговор приводят в исполнение. Поэтому я приободрился, попав в машину для перевозки заключенных. Все же, судя по рассказам Крейнина, я повел себя несколько странно. Наклонившись к нему в темном проходе «воронка», я шепнул: Напомните мне, пожалуйста, мелодию вальса из фильма «Под крышами Парижа».

Нас доставили в Лефортовскую тюрьму, уже мне знакомую. Но поместили меня в камеру незнакомого типа. В ней не было окон. Это меня насторожило, потому что я слышал, что в лефортовские камеры без окон запирают осужденных перед расстрелом.

...Итак, я, обвиненный в государственной измене и будто бы повинный в связи с Германией, должен был предстать перед Военной коллегией Верховного суда в дни войны с Германией. В этот час я не вправе был тешить себя иллюзиями. Так говорил я себе, именно говорил, объяснял по возможности бесстрастно, беспощадно. Но я и тогда не мог освоить мысль о своей смерти, да еще насильственной. Можно представить себе в воображении свои похороны, но не казнь. В Лефортовской камере, накануне суда, я не был в состоянии (или боялся) думать о том, как со мной поступят после вынесения смертного приговора. Но меня мучили мысли о моей семье.

Почему-то я не предполагал, что мою жену репрессируют после расправы со мной. Мои мысли были прикованы к другому. Я вспомнил, как в годы охоты за мнимыми вредителями и травли специалистов публиковались в газетах списки расстрелянных инженеров и хозяйственников. С ужасом я подумал, что моя жена и дочь могут прочесть и мою фамилию в опубликованном в дни войны списке «разоблаченных» и расстрелянных «германских шпионов». Погруженный в мучительные мысли о горе моих близких, я словно забыл ненадолго, что причиной была бы моя гибель. Страшная игра воображения на время вытеснила страх перед казнью.

Однако эти мысли снова меня настигли. Это было невольно. Больше нельзя было размышлять, надо было что-то предпринять. Пробудилось стремление сделать последние усилия в борьбе с безликим роком.

Я сказал себе, что мое дело отличается от многих других. Надо помешать суду отмахнуться от этого. Я потребовал у дежурного бумагу и получил ее, несмотря на поздний час. В заявлении, адресованном в Военную коллегию, я кратко указал, что защитил свою невиновность, и перечислил правонарушения в моем деле и в обвинительном заключении.

Утром нас по одному вывели из камеры. В те дни в Лефортовской тюрьме, как и в Бутырьках, заседало несколько комиссий, каждая из которых имено-

валась «Военная коллегия Верховного суда». Таким образом, одновременно выносились приговоры по нескольким делам. Меня не сразу повели на суд, а поместили в подвале в бокс. О Лефортовском подвале у заключенных было определенное мнение: там помещают обреченных на смерть и там же убивают. В подвале моим первым соседом был какой-то немолодой деятель среднеазиатской республики. Он не в состоянии был разговаривать.

Через несколько часов меня из подвала повели наверх и ввели в довольно обширное помещение, где уже восседали за длинным столом (как мне показалось — на возвышении) три человека в военной форме. Рядом со мной с обеих сторон стали конвоиры. «Судьи», видимо, только что закончили «слушанье» какого-то дела и сразу же занялись мною. Председатель суда Кандыбин, очевидно, назвал себя, иначе мне не была бы известна его фамилия: приговора я не видел. Ни до, ни после суда я не слышал этой фамилии. То был полный человек в роговых очках; выражение лица не было ни грубым, ни злобещим, мрачное лицо чиновника-юриста. Председатель (или секретарь, не помню) прочел знакомое мне «обвинительное заключение». Мне предложили кратко высказаться перед оглашением приговора. Я сказал о своей невиновности, о том, что я не признал себя виновным, что бесплодно требовал очных ставок с клеветниками. Председатель и члены суда слушали с привычным равнодушием. Но когда я сказал, что год пробыл в Суханове, что я и там не дал живых показаний и затем перечислил упущения в обвинительном заключении, Кандыбин снял очки и, наклонившись к одному из членов суда, задал ему шепотом какой-то вопрос. Этот молодой человек, вероятно, был представителем следственной части НКВД. Он шепотом дал председателю какие-то пояснения. Тогда Кандыбин неожиданно заявил, что вынесение приговора откладывается и что в заседании суда объявляется перерыв.

Перерыв длился долго, сутки. Июльскую ночь перед вынесением приговора я провел в боксе в подвале. В подвале смертников?

У меня было достаточно времени для томительных поисков ответа на вопрос: спасся ли я от гибели оттого, что на суде опровергал обвинение, или, наоборот, погубил себя, решившись на заседании Военной коллегии заявить во всеуслышание, что выдержал «физическое воздействие» (слова «пытка» я избегал) и что обвинительное заключение не имеет законной силы? Ведь мне было известно, что судебная процедура — чистая формальность, суд обязан оформить решение, утвержденное начальством при окончании дела. Я слышал достаточно достоверные рассказы о том, как жестоко расправляется аппарат репрессий с людьми, пытающимися на заседании суда предать огласке то, что происходило в тюрьме или кабинете следователя. И тем не менее интуиция мне подсказывала, что случилось чудо: мне удалось забросить песчинку в смертоносную машину, и она забуксовала. Мое заявление было неожиданным для председателя суда, обнаружилось, что какие-то правила игры, бюрократические правила не были соблюдены в моем деле. А может быть, проще: даже в самых тяжелых условиях твердое сопротивление беззаконию, защита человеком своих прав — не всегда совсем безнадежное дело?

Этой трагической ночью я был не одинок. К счастью, моим соседом был человек разговорчивый и державшийся бодро. Когда он назвал свою фамилию

— Левентон, я вспомнил, что мы уже встречались. В первые дни февральской революции 1917 года мы с ним, оба — студенты, участвовали в занятии полицейского участка, Портового участка в Одессе...

(...) 9 июля 1941 года меня снова повели из подвала на суд. Теперь уже я не забавлял себя мыслью, что жить интересно, как это было в мае 1939 года за час до ареста, но и не дрожал противной и неуправляемой дрожью, как это бывало, когда меня во Внутренней тюрьме ночью вызывали на допрос, не вел я диалога с самоубийцей, как после пыток в Суханове, и не читал про себя стихов о бессмертии, — теперь в душе все умолкло, воцарилась тишина напряженного ожидания, я ничего не видел и не слышал, я ждал, только ждал.

В том же зале, за большим столом, накрытым красным сукном, сидели все те же три человека. Тот же Кандыбин без всяких вступительных слов огласил приговор. Постановление суда снимало с меня обвинение в государственной измене, отменяло применение статьи 58, 1-а. Прочитав эти спасительные слова, Кандыбин сделал паузу и внимательно посмотрел на меня, как бы проверяя, оценил ли я смысл сказанного, понял ли, что останусь жив. Далее вкратце повторялись знакомые мне облыжные обвинения; приговор гласил: по обвинению в соучастии в деятельности антисоветской организации в Народном комиссариате по иностранным делам — десять лет лагеря по статье 17 (соучастие), ст. 58, 6 (шпионаж), ст. 58, 8 (террор), ст. 58, 11 (организация). Сверх того — лишение гражданских прав.

Когда приговор был оглашен, конвоиры приготовились меня увести, но я воспользовался заминкой и обратился с вопросом к председателю суда. Я сказал, что даже клеветники не обвиняли меня в причастности к террору, следовательно мне такого обвинения не предъявляли, почему же меня осудили и по этой статье? Кандыбин счел возможным дать мне пояснения. (Он, конечно, понимал, что я абсолютно ни в чем не повинен). Он «разъяснил», что я осужден за соучастие в деятельности такой организации, которая занималась и террором. (Каким? Где? Когда? Об этом ни слова...). Поэтому — продолжал председатель суда — в приговоре есть ссылка и на статью о терроре. Мне надлежало удовлетвориться пояснениями председателя суда, который, вероятно, счел, что я «не в норме». Человек благодаря решению суда в последнюю минуту избежал казни, а он вступает в пререкания с судом по поводу формулировок стандартного приговора, даже несколько менее жестокого, чем многие скоропалительные решения судов военного времени.

Внесение судебного приговора означало, что окончилось мое пребывание в следственных тюрьмах. Но тюремно-лагерный конвейер меня тотчас же подхватил, и я оставался в его власти еще четырнадцать лет.

* * *

Теперь ход жестокого следствия перестает быть книгой моего повествования. Застенок уже не образует непосредственный фон моих размышлений. Рамки постепенно раздвигаются. Одиночка расширяется до размеров большой пересыльной камеры. Камера превращается в тюремный вагон, мчащийся по железнодорожным путям. Исчезают тюремные стены, вместо них: колючая проволока, высокий тын в тайге, вышки с часовыми. Лагерь разрастается, поглощает

лесные массивы, поселки, города. Потом лагерные барьеры сменяются незрими, но непреодолимыми ограждениями. Сеть комендатур сторожит человека, прикрепленного к «сылке навечно». Так меняется фон моих размышлений, но темы все те же: лабиринт средств и целей, тюрьма и страна, личность в тюрьме, внутренняя свобода человека в тюрьме, в стране...

В июле 1941-го кончилось мое вынужденное одиночество. Предстояли новые испытания. Возникли новые вопросы. Спасет ли от отчаяния — внутренняя свобода? Можно ли, отвергнув проклятый союз жертвы с палачом, противопоставить ему союз добрых идей? («Добрый» не в смысле жалостливый, мягкосердечный, а стремящийся к добру, к справедливости). Не скоро открылась такая возможность. Но даже в обстановке лагерного одиночества она не была вовсе исключена.

Выйдя из зала суда, я сразу оказался среди людей, среди различных людей, которых ждала общая участь — лагерь. Тюремный конвейер работает безостановочно. В тот же день нас из лефортовской камеры перевели в переполненную камеру Бутырской тюрьмы. Дверь камеры то и дело открывалась, и появлялся новый заключенный, только что прошедший через судебный конвейер.

Встреча с людьми произвела на меня сильнейшее впечатление. Как часто на протяжении двух лет я мечтал об этой встрече! Несколько раз я ошибочно предполагал, что вот-вот состоится свидание с людьми в пересылке. Наконец, это случилось. Меня интересовало каждое новое лицо, меня радовала возможность менять собеседников, приятен был гул голосов. Окружающие меня люди были оживлены и охотно вступали в беседу. Мне казалось, что я никогда не видел сразу столько привлекательных лиц. Я находился среди людей, перенесших долгие муки и только что узнавших, что наступил поворот в их жизни. Я мог убедиться, что страдание облагораживает самых разных людей, с различным житейским опытом.

Конечно, часы оживленных бесед, сочувственных расспросов, даже шуток, были кратковременным эпизодом в жизни будущих каторжников. Мало кто остался жив из тех, кто летом 1941 года побывал в Бутырской пересылке. А тот, кто выжил, лучше помнит не случайные светлые минуты, а тяжкие мрачные испытания, пережитые в лагере исылке.

В Бутырях летом 1941-го скоро затихли свободные беседы между заключенными. Шепотом передавали друг другу слухи о войне. Шепотом делились обрывочными сведениями о предстоящем этапе. Слухи и догадки становились с каждым днем все мрачнее и зловещее.

В конце лета нас ночью в наскоро оборудованных грузовиках повезли на вокзал. Я успел заметить, что мы едем по Садовому кольцу, и меня поразило, что совершенно пустынная улица погружена во мрак. Ночью же нас погрузили в вагон для заключенных, а утром, глядя в щелку, мы увидели, что вагон стоит невдалеке от перрона Курского вокзала. Я больше двух лет не видел людей на улице, и мне показалось, что одежда москвичей заметно изменилась.

Эти чисто внешние, даже случайные, впечатления были отзвуком более глубоких переживаний. Я не мог представить себе, как протекает жизнь моих сограждан, что их сейчас заботит больше всего. Я знал, что началась война. Но мы в тюрьме не знали, как разворачиваются военные действия, как отразились первые месяцы войны

на жизни населения, на жизни в столице, какие трудности и лишения принесла война. Мы не предполагали, что война обрушилась на всю страну, никак не ожидали, что совсем скоро увидим зарево войны над нашей тюрьмой.

Под вечер нам пришлось пережить взаперти, в тюрьме на колесах, страшные часы воздушной бомбежки. Вокзал опустел. Люди разбежались, чтобы укрыться в бомбоубежищах. Никаких поездных составов вблизи не было. На рельсах одиноко стоял только вагон с заключенными. Конвоиры вышли на площадку вагона, готовясь выскочить из него, если приблизится бомбежка. Мы же, взаперти, вслушивались в отзвуки разрывов бомб к залпам зениток, находившихся где-то поблизости. Вскоре мы заметили зарево. Каждому казалось, что от бомб и пожаров пострадал именно тот квартал, где жила его семья. Мы думали о наших семьях в ожидании собственной гибели. Ведь никто из нас не уцелел бы, если бы бомба попала в вагон. Входную дверь заперли снаружи, окна были зарешечены, и каждое купе отделено от коридора железной решеткой, которую открыть изнутри было невозможно.

Когда прозвучал отбой тревоги и миновала непосредственная опасность, мы не сразу пришли в себя. Мы продолжали сидеть молча. Мы остались живы, но нам открылось, в какой степени мы, и выйдя из тюрьмы, отрешены от общества. Нам не дано вместе со всеми бороться против врага, мы не можем разделить общие опасности, мы изолированы от людей и в жизни, и в смерти. Ни в чем не повинные люди — отверженные. Мы снова остро ощутили это через несколько суток, когда поезд остановился на станции Котельничи. Поезд стоял не на подъездных путях, а у станционного перрона. Перед нашим вагоном собралась толпа. Видимо, распространились слухи, будто в вагоне везут шпионов. Толпа бушевала под окнами нашего вагона, готова была ворваться в вагон и растерзать нас.

Года через два один из моих попутчиков по этапу из Москвы спросил меня в лагере, не запомнил ли я наружность той женщины, которая на станции Котельничи, стоя у самого вагона, угрожала расправой нам, мнимым «пособникам фашизма». Я действительно помнил, что в первых рядах бушевавшей толпы стояла взволнованная, на вид интеллигентная женщина. «Так вот, — сказал мой собеседник, — вчера я встретил ее на соседнем лагунке. Ее недавно заребли, и, попав в лагерь, она быстро поняла, что тогда в вагоне были такие же невинные люди, как и она...».

Описанный выше случай на станции Котельничи — единственный известный мне эпизод, когда могло показаться, что организаторам массового террора удалось посеять рознь в народе, восстановить против жертв репрессий не отдельные слои населения, а народную массу. Нет! Колочая проволока не разделила народ на две друг другу чуждые, противостоящие части. (...) Лагерная система в целом и в отдельных своих частях была неисчислимыми узами — экономическими, организационными — связана с жизнью страны. Поэтому лагерные рабы фактически не обретались вне общества, а составляли его часть как особенно замученная, униженная низшая каста. Если лагерники соприкасались, например, на производстве, а ссыльные на производстве и в быту с «вольным» населением, то к ним могли относиться недоверчиво или недоброжелательно не потому, что они числились преступниками, а потому, что расслоение общества сказывалось на социальной

психологии, порождало заносчивость по отношению к более зависимым людям и подхалимство перед лицами, пользующимися привилегиями.

Вместе с тем лагерная система с ее крайними формами бесправия и жестокого произвола заражала своим тлетворным духом все общество. Достаточно того, что на одних и тех же предприятиях работали рядом обычные рабочие и лагерные работяги. Это отражалось на общем стиле управления производством. Я наблюдал в ссылке местных командиров производства, а также посещавших нас областных и министерских деятелей. По их методам администрирования, по их обращению с подчиненными, в том числе и с вольными специалистами, по тому, как они распоряжались рабочими, не только ссылными, — по всему было видно, что они не знают иных способов управления производством, нежели те, которые применялись в системе лагерей. Эти администраторы иногда бывали неплохими знатоками дела, но они просто не умели и не были бы способны руководить коллективом действительно свободных людей, знающих и законы, и свои права.

В местах ссылки был в обиходе совершенно официальный термин «контингент». Когда на улицах поселка появлялись новые ссылные, в рудоуправлении говорили: «Прибыл новый контингент». Жена одного инженера, аттестованного в соответствующем ранге, при нас спросила коменданта: «Нет ли в новом контингенте женщины, которая годится в домашние работницы? Но не присылайте молодых, вы ведь знаете моего мужа».

Иногда причисляли к «контингенту» и членов семьи ссылного. Однажды, когда солдаты из комендатуры обходили бараки ссылных, жившая там временно москвичка отказалась отвечать на их вопросы, ссылаясь на то, что она жительница Москвы. «Все равно, здесь все наши люди», — отвечал комендант. Это не пустые слова. В 1951-52 годах серьезно поговаривали о том, что членов семей ссылных, живущих в поселке, закрепят там навсегда. Так могло сформироваться подлинно кастовое общество.

Когда незадолго до реабилитации я работал в качестве плановика в отделе капитального строительства, я обнаружил, что и в служебных бумагах постоянно фигурирует термин «контингент». Им пользовались не только в статистических сводках о рабочей силе и о составе инженерно-технических работников. В докладах и отчетах, посылавшихся в министерство, отставание в выполнении плана или неполадки оправдывались тем, что на производстве преобладает «особый контингент». Это были не просто лживые отговорки, но грубое, злостное извращение действительного положения, клевета на ссылных инженеров, техников, рабочих. «Контингент» был ведущей силой на всех участках производства; ссылные инженеры перестроили работу, внесли много новшеств, ссылные рабочие ставили рекорды в добыче руды, перевыполняли план на фабрике, ссылные врачи и сестры наладили медицинскую помощь; даже клубная самостоятельность оживилась под влиянием ссылных.

Тем не менее они оставались «контингентом», низшей кастой. В самой этой касте тоже были различные категории. Они определялись прежде всего тюремным, лагерным формуляром. Успехи в производственной деятельности лишь иногда и частично сказывались на положении человека в иерархии. Моя

принадлежность к низшей касте на протяжении полутора десятков лет определялась ответом на вопрос, который задавался на всех вахтах и во всех комендатурах: «Статья? Срок?» — «Пятьдесят восьмая, десять лет».

Только один раз к концу моего лагерного срока, в 1948 году, начальник лагпункта («Селянка», Усольлаг) капитан Кончев обратил внимание на то, что в приговоре по моему делу нет ни одной прямой статьи, что я осужден лишь за «соучастие». Капитан поручил мне (несмотря на мой категорический отказ) заведывание столовой в лагерном совхозе. Но вскоре «оперчекистский отдел» отменил распоряжение начальника лагпункта. Так случилось не раз за годы моего пребывания в лагерях. Если мне поручали работу, требовавшую некоторой квалификации или на которой начальству в виде исключения нужен был честный человек, то очень скоро давалась команда перевести меня обратно на общие работы. Я был на плохом счету у высшей лагерной администрации, в особенности у «специалистов по бдительности».

Кончев рассказал мне (с глазу на глаз) о своем разговоре с начальником Усольлага полковником Тарасюком. Объясняя, почему он проявил ко мне внимание, Кончев сказал, что я осужден только по подозрению в соучастии. Полковник отвечал:

— Представьте себе, капитан, что вас пытаются зарезать, а Гнедин только держит вас за руки. Разве он поэтому менее опасен?

Разумеется, после такого разъяснения меня надлежало отправить на полевые работы.

* * *

Если в разгар сталинского террора начальник одного из бесчисленных лагпунктов, ознакомившись с приговором по моему делу, решился сказать, что я не совершил никаких преступлений, то этого не признал генеральный прокурор СССР Руденко даже после смерти Сталина. В 1953 году я из Казахстана, а жена из Москвы отправили в несколько правительственных инстанций заявления, в которых, подробно изложив мое дело, доказывали, что приговор должен быть отменен. В том году я получил ответ только на одно свое заявление. Но какой ответ! Уже после смерти диктатора и после того как были осуждены Берия, Кобулов, Деканозов (все трое были организаторами моего ареста, следствия и осуждения) — я получил от Главной Военной прокуратуры письмо от 10 октября 1953 года, где сказано: «Дело, по которому вы были осуждены, проверялось прокуратурой, при этом было установлено, что оснований для отмены или изменения приговора не имеется». Письмо подписал заместитель начальника ГВП полковник Чадаев. Вероятно, полковник опасался, как бы ему в новых условиях не пришлось ответить за живую отписку. Поэтому он — получив на это санкцию — добавил многозначительную фразу: «Ваша жалоба с ходатайством о пересмотре приговора по делу рассмотрена лично генеральным прокурором СССР и оставлена без удовлетворения».

Этот полковник юстиции занимал очень высокий пост. Но я готов допустить, что в моем деле он играл роль чиновника, действующего по приказу свыше.

Кто же осенью 1953-го решал мою судьбу, сменил в моем деле Берию? Судя по тексту письма, это был, как прямо и сказано, — лично генеральный прокурор Руденко, поныне [в 70-е] занимающий этот пост. Но и он, возможно, был исполнителем чьих-то предначертаний. Чьих же? Так вот: отказ в реабилитации, мотивированный с бесстыдством худших сталинских времен, был ответом на заявление, адресованное мною Молотову. В письме прокуратуры имелось на это точное указание. Адвокат, с которым советовалась моя жена, сказал, что было ошибкой обращаться к Молотову, хотя мы одновременно обратились в разные инстанции. К Молотову не следовало обращаться, потому что в 1953 году именно он был способен предложить генпрокурору отказать мне в реабилитации. Молотов, казалось, не был исполнителем чужой воли. Разве что тень диктатора благословила Молотова и Руденко на новые беззакония?

Наглое письмо Главной Военной прокуратуры меня потрясло. Неужели надежды, возникшие после смерти Сталина, были напрасны? Неужели в стране ничего не изменилось? Я снова был близок к отчаянью. В последний раз за годы изгнания. Характер полученного мною письма прокуратуры наводил на мысль, что вступать с ней в спор безнадежно и даже опасно, как это и было раньше. Все же я направил тому же Руденко заявление, написанное в резком тоне. Я уже не касался самого дела, я обстоятельно доказывал, что мотивировка отказа лжива. Утверждение, будто дело проверялось, — явная ложь. На это мое категорическое письмо от 1 декабря 1953 года я не получил ответа.

Вероятно, мне пришлось бы ждать вплоть до XX съезда КПСС, а то и дольше, если бы не энергичные неустанные хлопоты моей жены. С 1954 года, когда повеяло переменами, она не переставала добиваться моей реабилитации. Ее ходатайства поддержал И.Г.Эренбург. Жена систематически ходила в Военную прокуратуру; туда уже пришли из армии новые «хрущевские люди». Иногда жене в служебном кабинете выражали сочувствие, правда, в иносказательной форме. Так, однажды, в очередной раз принимая мою жену, начальник приемной сказал, пожимая плечами:

— Ну, что же я могу?.. Вы же сами видите...— И полковник показал рукой в окно, выходящее на глухую стену следственной части прокуратуры...

Но вот через полтора года хождений в Военную прокуратуру, в Верховный суд, посещения приемной Центрального комитета [КПСС], наступил день, наконец, когда жена услышала от молодого сотрудника Верховного суда:

— За углом — телеграф, вот номер дела, телеграфируйте мужу, что приговор отменен!

ЛАБИРИНТЫ ЭПОХИ

В 1977 году фонд имени Герцена в Амстердаме опубликовал мемуары Е.А.Гнедина «Катастрофа и второе рождение». По неизвестным, вернее всего, случайным причинам в книгу не вошли заключительные главы авторской рукописи, составляющие очень важную её часть. Дополнив и разлив неопубликованные главы, автор превратил их в самостоятельное произведение, которое он озаглавил «Выход из лабиринта». Я считаю, что обе книги Гнедина должны привлечь читателя, интересующегося основными проблемами нашей эпохи.

В своих мемуарах Евгений Александрович Гнедин описывает свою жизнь, при всей её необычайности отразившую судьбу его поколения. В начале пути Гнедин — революционер по убеждениям и идеалист в жизни, без малейших сомнений отдающий Советскому государству большое зарубежное наследство. Он — видный деятель иностранной политики СССР, один из главных помощников Литвинова. В 1939 году Гнедин арестован, его избивают в кабинете Берии, затем в особорежимной Сухановской тюрьме, но он не оговаривает ни других, ни себя. Два года строжайшей изоляции, стандартно-беззаконный суд, общие работы в лагере, ссылка, после смерти Сталина — реабилитация (запоздалая благодаря вмешательству всё ещё влиятельного Молотова) и, как у всех реабилитированных жертв сталинских репрессий оставляющая человека слегка второсортным и уязвимым в постсталинском государстве; затем — годы литературной и журналистской работы, скромная пенсия. Таковы внешние рамки судьбы автора, рассказанной со многими подробностями, иногда потрясающими. В эти рамки вмещается напряженная внутренняя жизнь, поддерживающая Гнедина в самые страшные дни на Лубянке и в особорежимной Сухановской тюрьме (в связи с которой Гнедин вспоминает любимую поговорку-директиву Сталина: «Змея есть змея, тюрьма есть тюрьма»).

Главное содержание книги — мучительные сомнения и искания автора — этические, философские, политические и социально-экономические, начавшиеся, в отличие от многих сходной с ним судьбы, ещё во время деятельного служения государству, и обретенное им в конце концов душевное равновесие на новой философски глубокой и человечной основе. Но и сейчас Гнедин пишет: «Кризис моего мировоззрения ещё окончательно не разрешен». И, действительно, в книге нет (к счастью!) окончательных решений, нет универсальных ответов, но есть главное — страстный поиск границы раздела добра и зла, осуждение подмены средств и целей, приведшей нашу страну к ужасам недавнего прошлого и к бюрократической злощезей для всего мира стагнации в настоящем. При этом позицию Гнедина, ясно понимающего все негативные стороны нашей действительности, отличает личный и исторический оптимизм.

В книге много мыслей, глубоких авторских замечаний. Я не стану пересказывать концепции автора, она не вполне совпадает с моей, и я боюсь её исказить, приведу выборочно лишь несколько цитат.

Предисловие к книге «Выход из лабиринта» (Нью-Йорк, 1982).

«В призыве (Солженицына) жить не по лжи главное — это мысль о необходимости отличать добро от зла». Я думаю, против этой мысли не будет возражать и Солженицын, так же как и многие его доброжелательные оппоненты.

«Историческим преступлением партийной бюрократии под сталинским главенством была ликвидация НЭПа, то есть уничтожение предпосылок благоприятного развития страны в условиях смешанной экономики».

«Идея строить социализм в полугаррарной стране послужила основанием для массовых репрессий против крестьянства».

«Я напоминаю, что из истории человечества и из индивидуальных судеб неустрашим тот плодотворный революционный новаторский дух, который одновременно есть и дух трагедии».

Вне контекста эта последняя цитата вызвала бы у меня некоторую внутреннюю настороженность своей красивой неоднозначностью, но весь контекст книги показывает, что не революционное насилие, не политический авантюризм и цинизм, а именно новаторский, и в этом смысле слова революционный дух перемен в обществе и в жизни — главное для Гнедина.

Мемуары Гнедина — это эмоциональная исповедь человека, прошедшего большой путь духовной эволюции. Важное место в ней занимают стихи (Глаза горбуна: «Мой горб — мой долг... и только боль былой потери в глазах тоской отражена»; второе рождение горбуна — отсюда название книги? — «себя не потерять в пути — вот всё, чему меня обяжет мой долг, пылающий в груди»).

Центральный аллегорический образ в книге — образ лабиринта. Это не только тюремные коридоры, в которых страдают и не находят выхода несчастные люди, но и образ трагического блуждания мысли, воплощение «иронии истории». Для Гнедина лабиринт эпохи, погубивший миллионы, губящий саму мечту о новом, более справедливом обществе, угрожающий будущему всего человечества, создается перерождением средств и последующей подменой целей. Вместо революционного идеализма появляется террор (подмена средств). Вместо великой мечты приходит корыстолюбивый бюрократизм (подмена целей). Этот основной этический тезис Гнедина бесспорен и глубок, как бы ни относиться к самим исходным целям — считать ли их благородной утопией, или гениальным проникновением в суть проблем, стоящих перед человечеством, или опасным заблуждением.

В центре внимания Гнедина — социологический и психологический анализ характера человека его поколения (и «красного», и «белого»), «эпохальный характер» по использованному в мемуарах выражению Герцена, с его исходной бескорыстной и благородной приверженностью к крупномасштабным проблемам человечества и потенциальной способностью к тому перерождению, которое приводит в «лабиринт».

Из моего краткого изложения, я надеюсь, ясна общечеловеческая значимость волнующих Гнедина проблем, необычность и одновременно типичность рассказанной им судьбы.

Издание мемуаров Гнедина в полном виде на русском и иностранных языках представляется мне важным делом.

Андрей Сахаров

29 ноября 1978 года, в день 80-летия Е.А.Гнедина.

II

**ЖИЗНЬ БЕЖИТ,
КАК КРОВЬ ИЗ РАНЫ**

ПИСЬМА ИЗ ЛАГЕРЯ

«14 января 1942 года.

Дорогие мои, милые мои, наконец, сегодня получил первые известия от вас за 2 1/2 года. Я получил Надину открытку № 5 от 14/ХІІ и мамину № 1 от 11/ХІІ. Жду, когда дойдет письмо, написанное Танюшей и ваши прочие письма.

Хотя я оставался неизменно прежним оптимистом при самых неожиданных обстоятельствах, все же получение ваших писем осмыслило мою жизнь. Я здоров, бодр, не теряю надежду, и вижу сны, подобно тем, о которых пишет мама...

Я нахожусь, примерно, в обычных для моего положения условиях, но в состоянии выше среднего, безусловно... Денег пришли немного, продукты, видимо, нельзя. Из вещей нужны обувь и прочие носильные вещи, кроме пальто, пиджака (по недоразумению, я привез сюда только кое-что из полученных в Москве в 1939 г. передач)... Обнимаю вас троих крепко, дорогие.

Пишите, пишите.

Всегда ваш Женя»

«21 января 1942.

Дорогие мои, повторяю вкратце сказанное в предыдущих письмах: я получил в середине января от вас телеграмму, открытку Нади № 5, мамы № 1 и послал телеграмму, две открытки и письма. Я здоров, не теряю ни надежды, ни бодрости. Вести от вас придали мне силы жить и надеяться. У меня работа по моим силам и самочувствие выше среднего. Я по-прежнему оптимист. Здесь я с августа. Писать мне можно сколько угодно, всё дело в почте. Пишите часто, обо всем вас касающемся, о родных и друзьях и даже о книгах. Денежные переводы разрешены, но не знаю, доходят ли... Если принимает почта вещевые посылки (продуктовые, говорят, нельзя), то пошлите такие мелочи: носки, мыло, бумагу, карандаши, иголки, нитки, кашне, полотенце, трубку и табак, махорку. Я одет и обут по-зимнему, буду нуждаться в ботинках. Если сохранились мои вещи, пошлите брюки, верхнюю рубашку, белье. Не надо добывать и много посылать. Попытайтесь послать бандеролью журналы (можно и старые), книги. Но, главное, пишите, чтобы не прерывалась столь драгоценная, кровная связь. Я, как и вы, верил и верю, что увидимся, встретимся. Живите, дорогие, бодро, хорошо, живите, не беспокоясь обо мне, и я верю, что моя жизнь далеко не исчерпана, тем более, что я её люблю по-прежнему, как вас, мои дорогие.

Подавал и подаю
заявления по моему делу

Ваш Женя

10 лет

«19 января 1942 года.

Дорогая Наденька.

День так сложился, что могу вспомнить не только о дате, но и о юности... Какое счастье, что я знаю, куда писать и надеюсь, что письмо дойдет. Словами на бумаге чувств и мыслей не передать, но, назвав дату письма, я сказал многое...»*

«6 июня 1942.

Дорогие,

только что в здешней конторе маленькая девочка лет шести со мною играла, как в старину моя дочка и другие дети. Это впервые за три года, и мне стало так тепло на душе, что добыл открытку и вот вам пишу. Я здоров, конечно, бодр и работаю чуть полегче, возможно, будет ещё легче. Очень скучаю без ваших писем.»

[весна 1949 года]

«... Дорогая Танюша,

сегодня перед отъездом перечел твои письма за четыре года и мысленно с тобой беседовал. Не только твоя жизнь, но вся наша эпоха всплыли передо мной. Ведь даже об атомной энергии ты писала. И сегодня читать эти строки очень интересно...

Что касается меня, то я начинаю новые странствия в полном здравии и бодрости. В конце концов и сквозь туман пробираться романтично. Как прибуду на определенное место, дам о себе знать.

А пока — терпение...»

* *«19 января 1920 года. Он любит меня. Верую, Господи.» — из дневника тринадцатилетней Нади, которая потом «стала его невестой, женой. Подругой. Пожизненно. Он одарил меня радостями, высокими и простыми, — он это удивительно умел. Но за свой Мир мы заплатили муками...»*

Княж-Погост

1945 г. Сейчас самый опасный момент моей жизни. Такой тоски, пожалуй, ещё не было. Нет воли ни к чему, кроме воли к его присутствию.

Написала два заявления с просьбой разрешить свидание с Женей. Начальнику Гулага и начальнику лагеря.

Первого сентября 1945 года в два часа дня приехали в Княж-Погост. Деревянная платформа. Маленькая железнодорожная станция. Поезд стоит в Княж-Погосте несколько минут. Ехать в Вожаель пока не нужно. Женя ещё на сплаве (на «караван-барже»).

Мне сообщают, что на моё и Женино заявление был дан формальный отказ.

Хозяйка избы, где я остановилась, предлагает мне пойти на радиоузел.

Оттуда разговаривают с диспетчером. Он обещает мне дать телефон.

Это было утром. Вечером бежим в диспетчерскую.

Чуваш (бывший секретарь обкома) соединяется с караваном.

Говорит:

— Евгений Александрович, сейчас с вами будут говорить.

Передаёт мне трубку.

Закрываю глаза и говорю:

— Алло?

Женин хриплый голос:

— Надя?

— Да, Женюша, это я.

— Ты волнуешься?

— Нет, всё замечательно.

Женя говорит что-то неясное. Я слышу, что плачет.

Спрашиваю:

— Когда приедешь?

Знакомый смешок.

Решаем, что я поеду к нему.

Проходят дни хождения с повторными заявлениями. Получаю разрешение на свидание в течение трёх часов.

Снова еду в Княж-Погост. Пережидаю всех и выхожу последней. Подлезаем под составами, бежим закоулками между домиков. На ходу мне дают старый ватник, а моё английское пальто забирает Маруся. Какой-то казах ведёт меня в Запань. Поднимаюсь на железную дорогу. Читаю и жду. Сейчас придет

Из дневников Н.М. Гнединой. Полный текст дневников готовится к публикации в журнал «Вера, Надежда, Любовь».

Женя после 6 лет и 4 месяцев. Медленно хожу взад и вперёд. Боюсь надеть очки. И вижу, вижу ясно без очков — внизу от баржи идёт маленькая фигурка большими шагами.

Идёт, идёт в гору, вот идёт по линии. И ноги меня ведут навстречу.

И вот он здесь.

Медный от загара. В засаленном ватнике, в гимнастёрке и галифе, заправленных в чулки, в американских ботинках, что я ему послала.

Небритый. Борода седая. Глаза нестерпимо ясные и светлые. Хватаю его за шею. Мы ходим по рельсам.

Он: «Как во сне. Ты не изменилась».

Наспех, прерывая друг друга, говорим главное: о заявлении, о здоровье.

Приходит казах. Обнимаю Женю ещё раз. Он, уходя, смотрит так, что мне кажется будто в сердце входят гвозди. Медленно ухожу.

Бессонная ночь. Наутро приходит стрелок и указывает дорогу за конторой. Дверь открывается. Вхожу. Сажусь за столик, накрытый кружевной накидкой, и жду. Жду долго. Наконец, приходит Женя. Он побрит, молод, красив. Глаза ясные и какие-то глядящие внутрь. Сидим так, взявшись за руки, изредка целуясь, за столом. Его рассказ...

Здесь перо моё захлебнулось, а сердце дало трещину. Когда-нибудь запишу по памяти...

ЖИЛ, КАК ДУМАЛ

Женя Гнедин был счастливым человеком: он всегда жил, как думал. Не забудем, что счастье его было очень трудным, и для этого потребовались огромные душевные, да и физические силы. Общеизвестно циничное выражение о том, что «русский человек умен поротой задницей». Каждый из нас, прошедший через тюрьмы и лагеря, мог убедиться как быстро люди умнеют, когда осмысление приходит под влиянием внешнего и весьма грубого воздействия на эту часть тела, впрочем, как и на любые другие...

Уж как его «учили», как в него вбивали новые представления об обществе, в котором он жил и для которого он жил! Он об этом немного написал в своей книге, да и я сам увидел страшные следы «вбивания ума» в первый же раз, когда пошел с Женей в лагерную баню. Но это всё было для него совершенно необидительным. Ведь он не думал, как жил, а жил, как думал. И расставание со многими иллюзиями, которые были содержанием его жизни, было для него процессом долгим и бесконечно мучительным. Я — этому свидетель.

Я знал о Евгении Гнедине задолго до того, как впервые его встретил. Лагерь — это не только место потерь, но и приобретений. Иногда — самых значительных в жизни. В этом смысле не следует «обижаться» на годы, проведенные в «Архипелаге». И среди многих замечательных людей, мне встретившихся, был Александр Сергеевич Лизаревич, сыгравший в моей жизни огромную роль и ставший мне одним из самых близких и дорогих.

В моей памяти он тесно связан с жизнью Евгения Александровича. Александр Сергеевич знал Женю по Одессе. Несмотря на разницу в годах они были в одной компании любителей литературы; в отношении АСы (как я звал Александра Сергеевича) к Жене было какое-то любовное отношение старшего к младшему из одного племени, и АСы мне иногда с какой-то ностальгической нежностью рассказывал об обаятельности Жени, его поэтическом даре, о его блестящих литературных способностях.

... В Москве АСы и Женя уже почти и не встречались. Сначала «почти», а потом и вовсе. Ну, а начало тридцатых годов уничтожило всякую возможность какого-либо контакта между ними. И, очевидно, в этом была для АСы какая-то боль, он говорил об этом не просто как о факте своей биографии, но и очень большой потере. Безнадёжной потере.

— Мы с Женей, слава Богу, больше никогда не встретимся...

— Почему слава Богу?

— Потому что встретиться мы можем только здесь. Не приведи Бог!

... Вечер. Александр Сергеевич вошел в барак необычный: очень бледный, с какими-то остановившимися глазами.

— Вы знаете, кого я сейчас встретил в бане, в новом этапе?

— Кого?

— Женю Гнедина. Сейчас я пойду за ним и приведу его сюда. А вы сбегайте за кипятком. У нас есть еще хлеб?

Я составил себе о Жене Гнедине некое романтическое представление. Но он оказался очень простым, естественным, душевно-контактным и даже веселым. И в его упоминании о пребывании в Сухановке не было ничего драматического. Хотя мы уже были хорошо насыщены об этой специальной пыточной тюрьме.

Женя Гнедин прибыл в наш лагерь когда — несмотря на войну, на поток всяких ужесточающих инструкций, — начальству волей-неволей приходилось отдать какую-то часть своей власти нам — «придуркам». Без нас у них не было никакой возможности выполнять производственные задания. А порох делали из целлюлозы, работники лесной промышленности были на броне, и план с наших начальников требовали по-военному — беспощадно. А они были дремучими вертухаями, способными только вести зеков в карцер.

Женю мы поселили у себя и, конечно, ни одного дня он не был «на общих». Он делал обычную благополучную лагерную карьеру: «точковщиком» на лесосеке и катище, бригадиром, десятником, приемщиком леса. Мне пришлось быть его лагерным учителем. Я был тогда бесконвойный, приходил к Жене на лесосеку и учил его немудреным азам лесоповала. А вечером, когда он стал бригадиром и десятником, обучал самому важному из лагерных премудростей: заполнению рабочих сведений. В лагере никто норм выполнять не может. И только бюрократическим кретинизмом можно объяснить то, что во время войны эти невыполнимые нормы увеличили чуть ли не вдвое. Нормы выполнить нельзя, а кормить зеков надо. Иначе они вообще работать не смогут. Эту нехитрую истину нам удалось вдолбить начальству, и нам не мешали в нашей весьма сложной системе «туфты», с помощью которой у нас на лагпункте все на всех работах выполняли и перевыполняли нормы, и, следовательно, получали свою достаточно скудную «горбушку» и даже «премблюда».

Не буду сейчас рассказывать о технике «туфты». Женя оказался очень способным учеником. Но у него всегда было стремление улучшить все, к чему он имел отношение. Что нельзя туфтить на кубатуре, он понял сразу. Но в рабочих сведениях, которые он заполнял, доходяги из его бригады совершали чудеса трудового героизма: они таскали баланы на руках чуть ли не на километры, прокапывали снежные траншеи глубиной до трех метров, ремонтировали лежневку в местах, где ее никогда не было... Со мной — нормировщиком — он торговался страстно, с темпераментом торговли с одесского Привоза. Когда я убеждал его, что никакие трудовые подвиги его доходяг не прибавят к максимуму, который они все равно получат, ни одного грамма хлеба к пайке и ни одной крупинки сечки к «премблуду», он, соглашаясь со мной, вздыхал:

— А может быть, они их пожалеют за это, может быть, это скажется на разборе их дел?..

Свою веру в «может быть», в то, что зло — обратимо, Женья терял долго и мучительно. В наших долгих, часто мучительных спорах вдвоем о том, что произошло, что происходит и произойдет, Женья со страстью, с ожесточением пытался удержаться на своей вере. Он приводил на память цитаты из основоположников, ссылаясь на уроки истории, начиная с времен Ромула и Рема. Александр Сергеевич устало вздыхал:

— Ну, да — вы же с Лево́й считаете, что вам подменили хороший социализм на плохой и все дело в том, чтобы все вернуть на свои места...

И — как это ни странно сейчас звучит, — особенно трудно было Жене расстаться с образом сурового, но великого и мудрого вождя всех времен и народов... Ну, тут уж мы были беспощадны! К тому же я был крупным специалистом по биографии Сталина, знал о нем множество таких подробностей, каких не знали даже руководящие работники Наркоминдела; и мы с Александром Сергеевичем загоняли Женью в угол без всякой жалости и однажды довели его до того, что он уткнул голову в руки и заплакал... Мне сейчас грустно вспомнить о своей жестокости по отношению к Жене, но даже веротерпимый Александр Сергеевич, добрый и тактичный, оказался тут неуступчивым. И не хотел ждать, когда у Жени пройдет его болезнь, которую он не считал «высокой».

Гораздо приятнее проходили у нас вечера в активированные (по случаю необычайных морозов) дни, посвященные тому, что тогда постоянно жило в нас — поэзии. Когда-то я допытывался у Бориса Слуцкого — никогда не сидевшего, — откуда ему известно, что «разве утешиться в прозе» и что нас на нарах «качало поэзии море»... Но нас оно действительно не только качало, укачивало, но и утешало, спасало, давало волю и простор духу. Александр Сергеевич и Женья знали бесконечное количество стихов, у меня тогда память тоже была лучше теперешней, и мы читали друг другу стихи по многу часов. Читали, переписывали, удивлялись их действию на нас. Причем иногда самых что ни на есть далеких от нас, от нашей жизни. Например, итальянских стихов Вячеслава Иванова, Блока и Гумилева... А Женья сам писал стихи, но говорил об этом редко, читал еще реже. Была в них подлинная поэзия, и грусть, и — в этом он был совершенно неодолим! — вера в преодоление, в победу духа.

Вообще, когда я вспоминаю Женью — не только там в лагере, но и здесь, на воле, в Москве, — меня всегда приводит в восторг и удивление его удивительное душевное здоровье. В нем не было ничего элитарного, никаких признаков духовного высокомерия, он не спасался — как это делали многие в его положении, — в отъединении от людей, в погружении только в свою собственную душевную жизнь. В Жене Гнедине была неистребимая потребность быть с людьми и среди людей. И это ему было легко, потому что он не только был «валентным», но и испытывал огромный интерес к людям. К самым разным людям, с самыми разными биографиями. Некоторые из них были для него — городского интеллигента — открытиями, и он о них мне рассказывал с горящими глазами.

И еще в нем была неистребимая жажда культуртрегерской деятельности. Уже через несколько месяцев после прибытия на наш лагпункт, он начал устраивать вечера ко всяким памятным датам, писал литературные монтажи, подбирал

участников того, что именуется «художественной самодеятельностью»... Когда Женю от нас отправили на 11-й лагпункт, то он вместе с другими ставил спектакли, организовывал концерты. Тем более, что в отличие от нашего начальника Заливы, их начальник считал себя покровителем искусства и даже делал некоторые послабления для служителей муз.

Во всем этом присутствовал какой-то органический демократизм, свойственный Жене Гнедину. Его интерес к людям никогда не зависел ни от прежней номенклатуры, ни от высокой эрудиции человека, ему люди были интересны и значительны сами по себе, в своей неповторимости. Гнедин ни от кого не зависел и никому не покровительствовал. Он являл собой пример человека, которого нельзя было унижить ни каторжным бытом, ни надзирательскими оскорблениями. Я никогда не знал его ДО, но понимал, что он был таким всегда. Через много лет, когда я уже был не в Устьвымлаге, а в Усользаге, на Усть-Сурмоге, мой новый знакомый Костя Шульга с восторгом рассказывал мне о Евгении Александровиче, с которым он был вместе на лагпункте «Селянка» километров в полсотни от Усть-Сурмога. Костя Шульга не был интеллигентом, не был даже с 58-й статьей. Он попал в лагерную мясорубку почти в отроческом возрасте да еще по статье 59-3 — бандитизм... Хотя был добрейший малый и никакого отношения к бандитизму не имел. «Селянка» была сельскохозяйственным лагпунктом, куда посылали последних доходяг с тем, чтобы они там или выжили, или же умерли. И с ними Женя щедро делился всем, что имел: вольным и отважным духом, верой в возможность преодоления зла и невозможность уничтожить в человеке чувство собственного достоинства.

Лагерные судьбы нас раскидали на много лет, но когда мы встретились в Москве, то я увидел, что он остался таким же, каким я его узнал на первом лагпункте. Он изжил в себе не только иллюзии, но и то, что мало кому удавалось — конформизм. Он не только свободно думал, он и свободно жил. Общение с ним было всегда радостным и наполненным.

Что остается после таких людей, какими были Александр Сергеевич и Женя Гнедин? Книжки, статьи? Они и в самой малой доле не отражают их личности. Но у каждого человека, который имел завидную долю знать их, соприкасаться с ними, работать, разговаривать, у каждого из них остался даже не след, а большая или меньшая часть их духа и души. Это живет в нас и, вероятно, какими-то неисповедимыми способами передается тем, кто около нас и вокруг нас. Эти два человека не были ни великими реформаторами, ни генераторами новых великих идей, но мне кажется, что роль таких людей в том, чтобы люди оставались людьми, гораздо значительнее, нежели других, великих...

В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»

...Мое письмо — попытка добросовестно свидетельствовать о собственном опыте. Это мое свидетельство, хотя бы уже в силу его краткости, я не рассматриваю как вклад в мемуарную литературу, а как форму участия в дискуссии сегодняшнего дня, и именно по определенному вопросу, о котором я сейчас скажу.

Проблема, которую я попытаюсь осветить в своем письме, это — положение и роль интеллигенции в сталинских лагерях. По моему мнению, эта проблема при обсуждении повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича» не получила полного и достоверного освещения. Между тем недавно опубликовано произведение, всецело посвященное этой теме: «Повесть о пережитом» Бориса Дьякова («Октябрь», 1964 г., № 7). Но именно некоторые стороны повести Дьякова побуждают меня высказаться и, если угодно, выступить в защиту интеллигенции от ее критиков и ложных апологетов.

Солженицын по праву большого художника ввел в свое повествование те типы интеллигентов в лагере, образы которых соответствовали его общему замыслу. Однако — хотел он этого или не хотел — могло создаться такое впечатление, будто тяготы лагеря и каторжная работа вместе с рядовыми тружениками лагеря были уделом лишь отдельных неудачников из среды интеллигенции, а большая ее часть порой даже паразитировала за счет массы.

В моей памяти предстают совершенно другие образы интеллигентов в лагере. Вот три женщины в самый канун ледохода везут на себе через реку по мокрому льду, рискуя жизнью, сани, груженные мукой, и делают это по собственной инициативе, чтобы накормить застрявшую в поле бригаду весьма смешанного состава. Все эти три женщины — «высокообразные интеллигентки», две из них кандидаты наук, и две из них коммунистки. Я вспоминаю другую уже немолодую женщину, беспартийную, жену инженера: она и в лагере, и в ссылке состояла в рабочей бригаде, во вредном цехе с необыкновенной дисциплинированностью и вниманием выполняла свои обязанности. Она подорвала свое здоровье и погибла в ссылке. Я вспоминаю, как интеллигент, которого с благословения начальника-майора травил начальник из уголовников, стал откидчиком у пилорамы, и перевыполнял норму вместе с другими рабочими. Студент, попав в лагерь, сделался дорожным рабочим и потом бригадиром, и его бригада была на лесозаготовках чем-то вроде «спасательной команды», когда работа срывалась из-за бездорожья. Эти интеллигенты действительно способствовали выполнению плана, в отличие от героя повести Дьякова, который видел свою доблесть в том, чтобы на собрании начальства и служащих больницы декламировать о необходимости организовать среди измученных и бесправных заключенных социалистическое соревнование, то есть высшую форму сознательного отношения к труду

Из архива семьи Гнздиных. Здесь приводится с незначительными сокращениями

свободного человека. Среди заключенных было много сознательных людей, но нельзя же утверждать, что они были свободными людьми...

Я, естественно, могу здесь приводить лишь отдельные примеры участия интеллигентов в производственной работе, но речь идет о массовом явлении. Оно не могло не быть массовым просто по закону больших чисел: в сталинских лагерях томилось такое множество интеллигентных и квалифицированных людей, что только малая часть могла избежать общей участи, общих работ. Вместе с тем я должен решительно отвести возможные попытки сделать из сказанного мной вывод, будто лагерный труд был не так уж тяжел, если с ним справлялись люди, не приспособленные к физическому напряжению. Одно из действующих лиц в повести Б.Дьякова рассуждает так: «Всякая работа сначала трудна, но только сизифовы камни перетаскать невозможно». Эти слова могли быть продиктованы личным мужеством человека, не пасовавшего перед трудностями. Однако они не применимы к каторжному труду в ежовских и бериевских лагерях. В тех условиях на общих работах крепкий человек мог именно сначала, затрачивая большие усилия, выполнять норму, но потом надрывался, и его ждала дистрофия или пеллагра. В конечном счете уже из-за нестерпимого лагерного режима, столь красочно и верно описанного Солженицыным, работяга либо выбывал из строя, либо его работа, действительно, превращалась в сизифов труд. Лагерные начальники не прочь были разглагольствовать о том, что к работе можно «привыкнуть», — надо только перевыполнять нормы и получать повышенный паек. За подобными рассуждениями скрывалось либо беспощадное отношение к людям, готовность обречь их на гибель, либо в лучшем случае — равнодушно-барское: «мужик, он же привык». Интеллигенты, связанные с массой работяг, не рассуждали так, как рассуждали герон Дьякова.

Для понимания взаимоотношений между различными категориями лагерного населения существенно, что людей могло сближать или разделять не только их отношение к труду, но и их различное отношение к жестокой лагерной действительности, их отношение к окружающим, чувство товарищества или его отсутствие. А его бывали лишены и люди умственного, и люди физического труда. Мало кто становился лучше в лагерных условиях, и, увы, как много людей становилось хуже в сталинских «исправительно-трудовых» лагерях, где имела хождение поговорка: «Умри ты сегодня, а я завтра!» Человек, не помышлявший о взятке на воле, мог в лагере стать мелким взяточником; человек, кичащийся своей идейностью, мог, растерявшись, вступить в сделку с уголовниками. Ханжа становился бесстыдным лжецом. Человек, прежде лишь проявлявший осторожность в отношениях с начальством, превращался в жалкого подхалима. Мещанин, в обычных условиях ограничивавшийся мелочными склоками, преображался в лютого волка, опасного для окружающих. Какой-нибудь политиканствующий начетчик, который в прошлом бессознательно придерживался антимарксистского принципа: «цель оправдывает средства», теперь уже сознательно руководился этим иезуитским правилом, становился даже доносчиком или провокатором. Приходилось наблюдать, как, поддакивая собеседнику и не слыжавшему о Дарвине, образованный человек, ссылаясь на Дарвина, рассуждал о том, что «жизнь — это борьба за существование» и, следовательно, каждый заботится только о своем благе. Забавно было слушать, как бывший крупный партийный администратор, поддерживавший себя в лагере мелким посредничеством в обменных операциях

(что само по себе было делом незазорным), стал рассуждать о благотворной роли частной торговли в обществе.

Жертвой порчи могли стать и рабочие, и интеллигенты, и крестьяне. Именно поэтому в размежевании между людьми огромную роль играла моральная устойчивость людей, моральное начало. С этой точки зрения лагерный опыт имеет большую ценность. Именно в тех условиях, в которых циники и трусы, оправдывая свое поведение, провозглашают лозунг «человек человеку волк», люди находят опору друг в друге, если они соблюдают «простые законы нравственности и справедливости, которыми должны руководствоваться в своих взаимоотношениях частные лица».

Обаяние образа Ивана Денисовича как раз и заключается в том, что он сохранил способность соблюдать законы нравственности, сохранил чувство справедливости. Мне пришлось работать много лет в качестве простого рабочего и бригадира, и я встречался с Иваном Денисовичем — в разных его обличьях. Светлый характер, выдержка в отношениях с людьми, мастерство и изобретательность в работе Ивана Денисовича напомнили мне черты характера и поведение разных моих помощников и товарищей по работе; в одной бригаде это был белорус, в другой — кубанский казак, в третьей — западный украинец. Именно на таких людей опирался бригадир или десятник (не всегда, но часто квалифицированный интеллигентный человек), когда он старался выполнить производственное задание и получше накормить бригаду. Правда, среди бригадиров и десятников попадалось немало жестоких и корыстных людей из числа уголовников или таких лиц, которые в прошлом были причастны к злоупотреблению властью. Такие бригады вступали в сделку с паразитировавшими, но имевшими деньги уголовниками и одновременно вытягивали из работяг жилы, чтобы потрафить начальству. На такой почве и происходил процесс размежевания между лагерниками: водораздел проходил не между трудовой массой и квалифицированной верхушкой (интеллигенцией), а между тружениками и нравственными людьми — с одной стороны, и трутнями, надсмотрщиками, бесчестными людьми — с другой.

Если не ошибаюсь, понятие «придурок» фигурирует в повести Солженицына трижды. Иван Денисович упоминает о том, что Цезарь «придурком в конторе работает, помощником нормировщика», далее говорится о том, что «придурку из штабного барака смотреть на вал входящих зеков — страшно», наконец, нагло шагающих — парикмахера, бухгалтера и работника КВЧ Шухов называет «твердыми лагерными придурками», которых работяги за людей не считают — «у придурни между собой спайка и с надзирателями тоже». Совсем иную точку зрения вкладывает Дьяков в уста интеллигентного врача; откликаясь на упоминание о придурках, он говорит: «Не обращайтесь внимания на эту клычку! Она еще с тридцатых годов повелась от уголовников. К вашему сведению: в лагере должностей не раздают. Кого куда — решают статья обвинения и срок. Тут действует особая «номенклатура!»»

Это верно, что в лагере действовала особая «номенклатура», но именно такая, из-за которой и могла образоваться прослойка «придурков».

К этой привилегированной прослойке необязательно принадлежали интеллигенты, находившиеся в лагерной зоне и по слабости здоровья не выходящие за зону; они работали по десять часов в конторе и получали меньший паек, чем рабочие.

Кроме того, к категории «придурков» не принадлежали те врачи, инженеры, агрономы, которые самоотверженно занимались своим делом. Надо иметь в виду, что в лагерях и на многих предприятиях в местах скопления ссыльных производство вообще держалось на труде и изобретательности специалистов из числа репрессированных. Но это особая тема.

Тем не менее, независимо от только что сказанного, надо определенно подчеркнуть, что такие рассуждения, какие приписал своему собеседнику Б. Дьяков, извращают существо дела и запутывают читателя. На первый взгляд, эти рассуждения как будто защищают от обидной клички тех, кто по характеру своей работы не был вынужден выходить за зону. На деле такие попытки обелить «придурков» равносильны защите порядков, с помощью которых ежовские и бериевские ставленники и в лагерях продолжали преследование честных советских людей. Вся система организации лагеря была направлена к тому, чтобы не давать хода невинно осужденным коммунистам и вообще сохранившим свое лицо советским работникам, интеллигентам. Проявление ими патриотизма объявлялось провокацией. Как часто по требованию, поступившему из «хитрого домика» — резиденции особо уполномоченных лиц, по статейному признаку снимались с должности и отправлялись на общие работы честные и дальние люди, после чего на их место назначались темные личности. (Вот она «особая номенклатура» в действии!) Чтобы не быть голословным, приведу два примера из огромного числа аналогичных случаев. В тот самый день, когда был лишен индивидуального пропуска на производственную зону интеллигент, ведавший агрегатом по выкатке леса, дали пропуск для свободного хождения и по поселку бывшему конокраду. Квалифицированный интеллигент был вынужден проводить на производственном участке две смены от рассвета до позднего вечера, а «придурок» из конокрадов вскоре совершил побег. В совсем другом месте и в другом году, когда во время посевной нужен был честный заведующий столовой, на эту должность, несмотря на его протесты, был назначен популярный бригадир из интеллигентов. После того как столовая прославилась небывалой «содержательностью» супов и выдачей пирожков, каких работы никогда не получали, интеллигент в соответствии с «особой номенклатурой» по требованию начальника лагеря был снят с должности, а на его место назначен мошенник, осужденный за службу у немецких оккупантов. Мне известен случай, когда заключенный из бывших гестаповцев не только командовал, но измывался над бригадой, сплошь состоявшей из занурованных ни в чем неповинных советских граждан, в основном интеллигентов.

Мне пришлось быть на огромном пересыльном пункте крупнейшего лагеря (Карабас) в Казахстане, который полностью находился под управлением группы бандитов; надзиратели появлялись в бараках только в часы проверки. Свежий, прибывший с воли человек попадал в зависимость от такого «начальства», а независимость сохранял тот, кто понимал, где проходит водораздел в лагерной обстановке.

Прошло много лет, но я и сейчас помню имена и наружность тех, кто использовал свою власть для издевательства над интеллигенцией в лагере. Участие в этой травле некоторых заключенных — особенно постыдная сторона. Много верного в замечании Ивана Денисовича: «Кто арестанту первый враг? Другой арестант. Если бы арестанты друг с другом не сучились...».

Однако будущий исследователь сделал бы ошибку, если бы, вскрывая причины особого притеснения интеллигенции в сталинских лагерях, не понял бы,

что действия низового начальства и произвол со стороны придурков, коррумпированных элементов из числа заключенных, были частью самой системы управления лагерями...

Не сомневаюсь, что в огромной армии лагерной администрации имелись честные работники, которые тяготились тем, что им пришлось выступать в роли надсмотрщиков над невинно осужденными людьми. Были специалисты, занимавшиеся исключительно производством. Однако и на их поведении сказывалось то, что они привыкали командовать бесправными людьми. Такая порча была, пожалуй, еще более опасной, чем та, жертвой которой становились заключенные. Любопытно, что подлинный характер ежовской и бериевской администрации виден как раз из опубликованных недавно рассказов о гуманных начальниках: добрые дела отдельных лиц предстают как героический и опасный подвиг одиночки.

...В то же время невинно осужденные люди вовсе не считали, что им «положено» стоять на выпяжку перед лагерным начальством. Пропасть отделяла бериевский лагерь от армии. Во всяком случае лагерный работяга, в том числе и интеллигент, стремился не заметить проходящего начальника, углублялся в свою работу, что давало ему независимость от тюремщика и избавляло от необходимости отвечать на грубые и оскорбительные вопросы и замечания...

...Для того чтобы по возможности объективно осветить тему, которой посвящено это письмо, я должен ответить самому себе и воображаемому читателю вот на какой вопрос: (...) в повседневной жизни рядовые рабочие отличали командира-специалиста от командира-тюремщика, интеллигента от «придурка»? ...Для того, кто знает и помнит лагерную жизнь, ясно, что бригадир Тюрин не один «кормил» бригаду, но значительная заслуга в том, что Тюрин, как рассказано у Солженицына, «хорошо закрыл процентовку», принадлежала члену бригады Цезарю Марковичу, который, когда бригада в целом не могла в лагерных условиях выполнять норму, должен был брать на себя ответственность за выписку «высоких паек» хлеба. Я высказываю такое предположение не в качестве бывшего нормировщика — им я никогда не был, — а в качестве бригадира с многолетним опытом. Я хорошо запомнил и тех нормировщиков, которые помогали обеспечить бригаду хлебом, и тех, кто старался заслужить благоволение начальства, игнорировал тяжесть повседневного труда заключенных.

Но, несколько расходясь с Иваном Денисовичем в оценке личности Цезаря Марковича, как я ее понимаю, должен подтвердить, что для большей части работяг «конторские» были чужаками. Однако эмоциональное отношение, ненависть они испытывали к придуркам, находившимся, по слову Ивана Денисовича, в спайке с начальством, а женщин, якшавшихся с надзирателями, просто презирали.

Рабочие умели устанавливать различие и между им лично не знакомыми людьми интеллигентных профессий. Я помню, каким уважением пользовался инженер, занимавший благодаря своей одаренности руководящую должность на производстве и спасавший работяг от придурков и преследований со стороны лагерной администрации. Я вспоминаю одного агронома, который в поле орал на рабочих, отчасти по свойству характера, отчасти потому, что он был энтузиастом своего дела и добивался высоких урожаев; несмотря на свою требовательность, он в отличие от других руководителей был уважаем рабочими, которые знали, что «Давид накормит», не побоится начальства. Рабочие видели разницу между

«твердыми придурками», занимавшимися махинациями в бухгалтерии и, например, работавшим в бухгалтерии скрупулезно честным и благожелательным учителем из Риги, светлым идеалистом.

Рабочая масса умела видеть различие и между отдельными представителями такой важной группы интеллигенции, как медицинские работники. К сожалению, и среди них попадались «придурки» и карьеристы. Сцена в амбулатории, описанная Солженицыным, глубоко правдива. Всякий, кто бывал на общих работах, испытывал чувство горечи, возмущения и просто страха, когда плелся больной в колонне, потому что против него сработала бюрократическая статистика в руках равнодушного или трусливого человека. Но не сомневаюсь, что и Ивану Денисовичу на протяжении его лагерного срока «медицина» не раз протягивала руку помощи. Мужество и гуманность врачей и других медицинских работников спасли жизнь и вернули бодрость духа многим страдальцам.

Если существовала «спайка» между придурками и начальниками, то, как я уже говорил, существовало товарищество и между заключенными различных категорий. Лагерные работяги уже потому не чуждались интеллигентов, что были свидетелями того, как те работали, страдали и погибали рядом с ними. Рабочие бывали свидетелями столкновений между начальством и независимыми, «нерапортовыми» интеллигентами. Помню случай, когда бригадира-интеллигента прямо с вахты уволакивали в изолятор за то, что он решительно выступал в защиту бригады от придурков надзирателей. Приведу еще только два сравнительно безобидных примера. Десятник на производстве в спокойную минуту при слабом свете костра листал книгу и не заметил, как подошел начальник работ. Возмущенный тем, что зек читает книгу (это, конечно, было нарушением режима), начальник гневно пригрозил посадить десятника на трое суток, если план в эту смену не будет выполнен. Вряд ли члены бригады когда-нибудь работали с таким рвением как в тот раз, когда надо было избавить десятника от наказания. Бригадир смешанной бригады, состоявшей частично из уголовников, чечен, плохо говоривший по-русски, рассказал однажды своему мастеру, что незаметно для него бригадники заглянули в его вещевой мешок, который всегда был туго набит. «Мы думали, что там пайки хлеба, которые ты набрал, а там оказались одни лишь книги. Мы поняли, что ты не придурок, а ученый человек, и решили тебя не подводить, а на работу нажать».

Лагерные работяги не считали, что размышляющий человек опасен, и уважали мысль, если замечали, что она придает человеку силу. Но именно проявления этой силы не желало лагерное начальство, оно считало враждебным элементом идейного человека, сохранившего в заключении способность рассуждать. В самой природе лагерного режима были заложены предпосылки того, что не могло быть водораздела между незаконно осужденными интеллигентами, рабочими или крестьянами, если они оставались нравственными людьми, проявлявшими стойкость и чувство товарищества в часы испытаний и перед лицом тюремщиков. И, наоборот, естественная грань отделяла массу заключенных от «придурков» и от аналогичных проводников беззаконий, проводников и защитников продиктованного Сталиным ежовско-бериевского режима в лагерях.

...Рассказываем мы о прошлом ради живых и ради тех, кто будет жить. Это обязывает к сугубой самокритичности. Лев Толстой в одном из набросков к «Анне Карениной» писал: «Она именно умела забывать. Она... как бы при-

щуриваясь глядела на прошедшее с тем, чтобы не видеть его всего до глубины, а видеть только поверхностно. И она так умела подделаться к своей жизни, что она так поверхностно и видела прошедшее». В произведениях, опубликованных после повести «Один день Ивана Денисовича», заметно стремление «подделаться к своей жизни» и поверхностно глядеть на лагерное прошлое, на наше прошедшее. Нам не нужны подделки. Нам нужен чистый звук. Мы должны помнить, что сейчас, более чем когда-либо, правильное освещение прошлого — необходимое оружие в борьбе, которую надо вести в настоящее время.

12 декабря 1964 г.

Е.Гнедин

III

ИЗ ШЕСТИДЕСЯТЫХ В «ДРУГУЮ ЖИЗНЬ»

*...Гололедица — твой грех, эпоха!
Нет пути, и скользит нога...
От эпохального переполоха
До сумасшествия — полшага.*

Е.Гнедин. «1 января 1981 года»

ЗАМЕТКИ ДЛЯ ПАМЯТИ (1965-1966)

Цель этих записей — зафиксировать, видимо для потомков, существенные факты из жизни советского общества, факты, которые не получили широкой огласки, но сыграли немалую роль в ходе дела, во всяком случае отразили важные тенденции в политической и общественной жизни.

Фон

Прежде чем записать факты, относящиеся непосредственно к периоду, предшествующему XXIII съезду партии, запишу в общей форме впечатление современников о значении отставки Никиты Сергеевича Хрущева.

Так как навязанные им обществу мероприятия в области экономики, им самим и его помощниками, а, возможно, и врагами, были доведены до абсурда, положение в сельском хозяйстве стало катастрофическим, а в промышленности, во всяком случае, крайне запутанным, — первое впечатление сводилось к тому, что устранение Хрущева диктовалось крайней необходимостью приостановить поток непродуманных импровизаций и искать разумный выход из создавшегося нетерпимого положения.

Хотя такое положение совпадало по сути, но не по форме, с официальными объяснениями, на деле очень скоро выяснилось, что первостепенное, если не решающее, значение имело намерение большинства членов Президиума [ЦК КПСС] договориться с Китаем. Они ошибочно предполагали, что для этого достаточно пожертвовать Хрущевым. Это была ошибка, свидетельствующая об отсутствии дальновидности и умения анализировать исторический процесс по существу.

У нас не было определенного впечатления, что...готовность договориться с китайским руководством сочеталась с самого начала с решимостью ликвидировать ради этого политику, основанную на решениях XX съезда. В том-то и дело, что, видимо, правящая группа не понимала, что не достаточно формальных жестов вроде свержения Хрущева, чтобы ликвидировать спор с китайцами. В том-то и дело, что руководители страны не учли (или не хотели додумать до конца) историческую суть и неизбежность конфликта с нынешним правительством [Китай].

Для жизни общества важнее другое: устранение Хрущева было понято не только сталинистами, но и просто чиновниками, желавшими сделать карьеру, как сигнал к выступлению против решений XX съезда и за восстановление авторитета Сталина. Такие настроения объединяли разных людей, к их числу принадлежали:

а/ сталинисты различных профессий (полковники в отставке, бывшие работники аппарата репрессий, «люди длинных ножей»), уверенные, что они скоро пригодятся, тупые или циничные поклонники «вождя» и т.п.;

Эти записки, носящие полудневниковый, полуретроспективный характер, Е.А.Гнедин вел с перерывами в течение нескольких лет. Полный текст хранится в архиве семьи Гнединых.

б/ политики и администраторы — не столь приверженные Сталину, как твердо убежденные, что страну надо зажать. Им нужно было не столько восстановить престиж страны, сколько оправдать (так или иначе) наличие репрессий и зажим всякого проявления демократии, даже куцей;

в/ работники партийного аппарата (их было, конечно, много и среди предыдущих двух категорий), которые чувствовали, что теряют почву под ногами, видя, что и разоблачение Сталина ведет к подрыву власти паразитического аппарата, а экономические реформы постепенно лишают оправдания и базы деятельности и вмешательство некомпетентных администраторов из партаппарата;

г/ национал-шовинисты разных мастей — стремление обелить Сталина объединяло на время и русских великодержавных шовинистов, и украинских или грузинских националистов-сепаратистов;

д/ обыватели.

Особо надо сказать о том, что после свержения Н.С.Хрущева и образования «временного» правительства случайного состава (большинство голосов Президиума — креатура Хрущева), неавторитетного и раздираемого интригами, — активизировались и получили влияние, какого они никогда не имели, местные администраторы — секретари обкомов, а они оказались представителями реакционных взглядов, воплощением беспринципного администрирования и бюрократической ограниченности (Толстиков в Ленинграде, Егорычев в Москве и др.).

Любопытно, что незаметно было усиления влияния республиканских руководителей (по крайней мере, по сравнению с усилением роли секретарей обкомов). Это, очевидно, объясняется тем, что центральная власть сильно опасалась сепаратистских тенденций, и республиканские руководители были больше связаны, чем секретари обкомов.

Наконец, я должен признаться, что впервые за время моей сознательной жизни мне присуща «шпиономания». Я не могу освободиться от серьезного подозрения, что в государственном и партийном аппарате на всех уровнях имеются агенты, провокаторы и интриганы, прямо связанные с Китаем.

Факты

Отдав дань склонности к обобщениям, постараюсь записывать только факты, не получившие огласки, или дать оценку современниками известных событий. Так как я в марте 1966 года записываю и события 1965-го, то не всегда могу быть точным в отношении хронологии.

Ранней весной 1965 г. умножились сведения о выступлениях на закрытых заседаниях, свидетельствовавших о растерянности руководства и попытках подготовить пересмотр решений XX съезда. Во всяком случае, именно в это время состоялось выступление секретаря ЦК Демичева перед редакторами, и четко (на не закрытом еще тогда заседании) было сказано, что не было периода культа личности, а был период строительства социализма. Тогда же говорилось о том, что политика мирного сосуществования не есть генеральная линия партии, ибо генеральная линия — «кто-кого» в мировом масштабе. Но самым интересным в выступлении Демичева

на данный момент была констатация крайне тяжелого экономического положения — собственно, кризиса, угрозы безработицы, и небывалые признания, что «народ перестал нам верить». Никаких выводов из такого «анализа» не было сделано, кроме стандартного: надо укреплять авторитет партии, с прибавлением неосторожных признаний типа «не надо рубить сук, на котором мы сидим».

Кажется, в этой связи или по другому поводу умница Хрущев говорил о том, что большинству лиц, занимающих руководящие посты, в том числе [на] самой [вершине] власти, просто некуда податься, если их сместят с поста: у них нет ни профессии, ни знаний, для них лишение командных прав равносильно потере всяких источников существования....

...**Летом** 1965 г. была задумана широкая акция, которая должна была сочетать кампанию в печати с административным зажимом и репрессиями. «Идеологическое обоснование» репрессий организовать не удалось, но репрессии частично имели место...

...**Осенью** 1965 г. стало ясно, что в силу каких-то определенных решений, ...по команде из центра были произведены аресты во всех крупных городах в среде научной и литературной. Это была, вероятно, первая волна арестов, предполагалась и последующая. Но этого не случилось. Между прочим, настойчиво повторяли слух, что у Шелепина [тогдашний глава КГБ] подготовлен список лиц, «подлежащих изъятию», дабы в обществе прекратились «антиправительственные» разговоры и, вообще, можно было «надеть кляп» на общественное мнение. Любопытно, что, по слухам, первоначально в этом списке, оказывается, было 200 фамилий, к началу зимы уже 350 имен, а к середине зимы — 2000 !!

Еще летом в Ленинграде состоялся «процесс шести» (или семи). Мне передавали, что это инженеры и аспиранты-химики. Они составили документ, чуть ли не критическую «платформу», под общим названием «От диктатуры пролетариата к диктатуре бюрократии» и распространяли его, размножив на гектографе(?). Кроме того, они выпустили два №№ журнала «Колокол». На суде они держались мужественно, защищали свои взгляды, кажется, только взяли назад «как преждевременный» тезис о ...вооруженном восстании. По всем сведениям, ни обвинение, ни суд не пытались опорочить или оскорбить обвиняемых, как это принято, и обвиняемые никаких претензий к следствию не имели. Приговор был: от 2 до 7 лет по ст.70 УК.

Видимо, это было «нормальное дело» в том смысле, что лица, привлеченные к суду, действительно совершили действия, предусмотренные предъявленным обвинением, и, независимо от того, как оценивать существо их взглядов, судебное дело и приговор не были нарушением законности или норм правосудия, какими были дела Бродского и Синявского-Даниэля.

Что касается самих обвиняемых — то это, видимо, первые за несколько десятков лет убежденные, честные и мужественные, самоотверженные и последовательные противники политического режима, оставшегося после владычества Сталина.

В Киеве и Львове были арестованы украинские националисты и сепаратисты, в основном студенты и молодые литераторы. Их аресты вызвали публичные протесты и демонстративные выступления, в частности, популярного московского поэта на собрании при обсуждении кинофильма.

Несомненно, что и в этом случае были арестованы лица, в самом деле поведовавшие взгляды, противоречащие официальной идеологии. Иными словами, и в этом случае режим защищался от выступления своих подлинных противников.

Это то, что я **знаю**. Но на основании слухов можно еще сказать, что на Украине сепаратистские и «антимосковские» настроения имеют широкое распространение — это существенно и в самом правительственном и партийном аппарате, вероятно, до самой верхушки.

Я говорил уже, что сепаратизм силен всюду. Стало известно, что руководство Армении официально протестовало против такого соглашения с Турцией, которое игнорирует тот факт, что под властью Турции находится большая часть армянского народа и армянские земли. Упорно говорят, что в Казахстане популярны передачи из Пекина. Это как минимум...

Еще одна иллюстрация. Мне рассказывал московский литератор о беседе с образованным якутским интеллигентом. Тот говорил, что якуты не имели бы ничего против удовлетворения китайского предложения о переселении в Якутию нескольких сот тысяч китайцев. Якуты уверены, что это принесло бы пользу экономике Якутии, между тем как от русских они мало хорошего видели.

Осенью 1965 г. были арестованы Синявский и Даниэль, и началась подготовка этого шумевшего процесса.

Вместе с тем в том же сентябре 1965 г. был возвращен из ссылки поэт И. Бродский. Но именно только возвращен, а Верховный Суд РСФСР под председательством А. П. Смирнова оставил в силе дикое обвинение поэта в «тунеядстве» и лишь сократил срок, дабы Бродский мог вернуться в Ленинград. Известно, что секретарь обкома Толстиков опротестовал и эти решения, но из Москвы последовало твердое указание «дело Бродского» прекратить. Только после этого Бродского не только прописали, но прекратились ежедневные посещения участкового, а затем его приняли в профком литераторов. Частное определение судьи Савельевой против свидетелей защиты — писателей было отменено.* (Тем временем зимой 1966 г. Савельева была вновь избрана судьей !!!).

Ликвидация «дела Бродского» — событие, находящееся в противоречии с общей линией, направленной на усиление репрессий осенью 1965 г. Это единственное отклонение от курса объясняется только одним: тем, что общественность энергично добивалась пересмотра явно незаконного приговора по делу Бродского и получила поддержку за рубежом со стороны прогрессивных интеллигентов. Это факт и вывод знаменательные! (...)

Зима 1965-1966 гг.

Конец 1965 и начало 1966-го прошли под знаком растущего беспокойства в обществе и явных проявлений неурядиц в правительстве.

Эти противоречия и неурядицы стали еще более чувствительными, когда обнаружилось, что положение в стране и в руководстве не улучшилось даже под

* Е. А. сыграл немаловажную роль в борьбе за освобождение Бродского. Он был одним из наиболее активных ходатаев за смягчение его участи и отмену приговора, автором многих писем в защиту поэта. — *Сост.*

воздействием таких положительных и существенных событий, как начало глубокой экономической реформы, провозглашенной на сентябрьском пленуме ЦК (...)

Относительно экономической реформы. Большинство сходится в оценке, сформулированной Румянцевым [член ЦК, вице-президент АН СССР, один из «отцов-либералов» того периода — публ.] на заседании в Академии наук: «Это только начало реформы». Но, по мнению ряда экономистов и деятелей промышленности, на данном этапе (пишу в конце марта 1966 г.) реформа не может дать существенных положительных результатов по следующим причинам:

— Ее осуществляют противники реформы, те самые аппаратчики, которые ранее слепо проводили все импровизации Хрущева;

— Во главе министерств — люди, возглавлявшие их при Сталине до создания совнархозов, и они, вопреки прямому смыслу постановлений Пленума и директив, полностью восстанавливают порядок, существовавший в прежних, строго централизованных министерствах. Один из примеров: ликвидация министром станкостроения «фирм» — объединения заводов, работа которых с трудом, но с успехом, была налажена. В «Правде» было опубликовано письмо ленинградских директоров таких «фирм», возражавших против их роспуска. А я слышал и личные рассказы директора;

— В аппарате управления экономикой просто-напросто нет достаточного числа квалифицированных людей, не погрязших в чиновничьем догматическом равнодушии к живой экономике;

— На местах, как и в прошлом, мероприятия проводятся поспешно и непродуманно, и это используется противниками реформы. Пример — перевод на новый порядок крупнейшего Усть-Каменогорского комбината дал 5 млн. убытку (рассказ балхашского экономиста).

Все приведенные выше причины малой эффективности решений сентябрьского Пленума, конечно, лишь частные проявления более общих причин, а именно того, что реформу в области промышленности, а тем более всей экономики, нельзя успешно проводить без проведения коренных преобразований в государстве и обществе. А это, в свою очередь, предполагает доведение до конца пересмотра всей политики и идеологии, оставшейся в наследство от Сталина.

Эту мысль я в своем выступлении на партийном собрании проиллюстрировал таким наблюдением: в статьях наших экономистов теперь часто проблемы задумываются и договариваются до конца, а в статьях, посвященных идеологическим проблемам, вопросы не только не продумываются и не ставятся по-новому, но, наоборот, эти статьи оказывают тормозящее влияние на проведение экономической реформы. Я имел в виду статьи в «Правде» нескольких зав. отделами ЦК(...)

Так, в этих записях, освещающая экономическую реформу, я невольно вернулся к основной теме: усилia сталинистов и сторонников репрессий приостановить обновление жизни в стране, взять общество в «ежовые рукавицы»(...)

Декабрь 1965 г., январь и февраль 1966 г. прошли под знаком активизации той группы в руководстве страны, которая стремилась захватить власть, опираясь на проталинские лозунги и аппарат репрессий. Общество лихорадило. Я говорю — общество, хотя отлично понимаю, что говорю о настроениях небольшой (относительно) прослойки московской интеллигенции, правда, не только

литературной, но и научной и служилой интеллигенции. Но так как, во-первых, недовольство ходом дел и крайне критическое отношение к руководству страны несомненно было явлением повсеместным и широко распространенным, и так как, во-вторых, тревога московской осведомленной интеллигенции была обоснована, — я считаю, что эта тонкая московская прослойка правильно выражала как осознанные, так и неосознанные потребности и опасения общества в целом.

Оставляю без упоминания факты, хотя бы и важные, но известные, ... и назову здесь не преданные огласке, характеризующие как наступление реакции, так и развитие общества (...)

...5 декабря 1965 г. на Пушкинской площади состоялось подобие демонстрации под лозунгами соблюдать Конституцию и протестами против суда над литераторами Синявским и Даниэлем. О том, что предстоит демонстрация, было известно за много дней — и в Москве, и в Ленинграде. Пришли группы молодежи из МГУ, кое-кто постарше; одним из инициаторов, по слухам, был Есенин-Вольпин. Собственно, никаких причин у демонстрации не было, зато хорошо организовались власти. Собравшиеся на площади были задержаны и погружены в заранее приготовленные машины. Насколько мне известно, всех отпустили, арестов не было, кое-кого исключили из комсомола, перевели с очного факультета на заочный. Несомненно, что среди «демонстрантов» были и просто бузотеры, и идейные юноши и девушки. Мне рассказали о том, как твердо и мужественно давала объяснения студентка на бюро [ВЛКСМ] факультета журналистики.

В общем, это было не слишком серьезное событие как по характеру и масштабу участников, так и по характеру репрессий в ответ на демонстрацию. Но, тем не менее, это вежа — первая попытка политической демонстрации за 40 лет.

1966 год

29 марта. Пишу под звуки радио — передача об открытии [XXIII] съезда, но хочу все же дописать дневник за прошлые 2 месяца.

— Важной чертой внутривластной обстановки, по крайней мере в Москве, была большая активность на закрытых собраниях представителей органов госбезопасности, в частности, пол[ковни]ков Московского обл.управления.

Главной темой этих сообщений было ленинградское дело и подготовка суда над Синявским и Даниэлем. Я слышал несколько рассказов лиц, присутствовавших на этих докладах. Хотя докладчики в соответствии со своей служебной деятельностью и намерениями, естественно, призывали к бдительности и обосновывали необходимость репрессивных мер, — все же общее впечатление, что представители «органов» соблюдали умеренность в своих высказываниях и мало прибегали к демагогии. (...) На одном собрании «высшей прослойки» идеологических работников, зав.кафедрами марксизма-ленинизма и т.п., даже наблюдался «разрыв» между выступлением «от» московского ГБ и возгласами с мест: «арестовать их всех», «в лагерь» и т.п. Докладчик сказал, что он не для того пришел, чтобы обсуждать необходимость арестов, а (...) надо предотвращать распространение ошибочных взглядов и не звать на помощь «органы».

Записывая это, я вовсе не хочу сказать, что представители «органов» не готовили репрессии или не накапливали материалы о «неблагонастроенных» лицах, но фактом является, что они свою подготовку вели осторожно и не считали декабрь-январь подходящим временем для развертывания кампании в обоснование массовых репрессий. Зато догматики и мракобесы, много лет паразитирующие при различных идеологических центрах, просто жаждали возврата к сталинским методам. Эти бездарные и безыдейные по существу люди не способны «аргументировать» в споре с мыслящей молодежью и мечтают дать выход своей злобе и сохранить свои хлебные места при помощи административных мер и репрессий.

Эти настроения находили свое выражение и в злобных нападках на «Новый мир» и требованиях снять Твардовского.

Как бы ни оценивать позиции докладчиков от «органов» и их слушателей, любопытной чертой этого периода является то, что именно деятели ГБ выступали перед квалифицированной аудиторией в роли знатоков идеологических и даже литературных проблем.

— Очень существенный эпизод этого периода: дело о рассылке фашистских листовок по каналам Московского комитета ВЛКСМ. Я слышал несколько достоверных рассказов, и хотя все детали интересны, из-за недостатка времени просто суммирую все, что знаю по этому поводу.

Инструктор МК ВЛКСМ Валерий Мих. Скурлатов, кажется, по собственной инициативе, составил «Памятку» по вопросам мировоззрения и идеологии. Эта «Памятка» целиком состояла из расистских и черносотенных лозунгов, в частности, говорилось о культе предков, о том, чтобы по «старинному русскому обычаю» мазали дегтем ворота женщин, живущих с иностранцами. Кажется, было о стерилизации. Кое-что было прямо взято из «Майн Кампф» Гитлера.

Существуют разные объяснения того, чем руководствовался автор «Памятки». Говорят и о шутке, и о провокации. Но важны не его мотивы, а тот факт, что расистская, фашистская «Памятка» была размножена и в программе (?) МК ВЛКСМ, ее, безусловно, читал другой инструктор, давший на подпись препроводительное письмо к «Памятке» одному из секретарей МК ВЛКСМ, который [его] якобы подписал, не читая «Памятки». Она была разослана для ознакомления и отзыва в несколько комсомольских идеологических организаций(...)

Это волнующее дело было быстро приглушено. Не только о нем не говорили докладчики, в частности от «органов», на закрытых заседаниях; но, более того, попытки, хотя бы в форме вопросов, получить разъяснение по этому делу встречали резкий окрик: секретарь МК (КПСС) Егорычев и секретарь ЦК ВЛКСМ Павлов назвали «провокацией» упоминание об этом деле. (...)

Автор фашистской листовки был снят с должности, но не привлечен к ответственности. Совершенно случайно... стало известно, что у Скурлатова приняты бумаги на конкурс для занятия должности в секретном секторе «специформации» ВИНТИ.

Если учесть, что в это же время велась кампания против Солженицына и Евтушенко, Твардовского и «Юности», становится особенно знаменательным молчание о распространении фашистской листовки по каналам ВЛКСМ !

— Зимой 1965-66 гг. было также свернуто, приглушено и вовсе не предано огласке другое дело о фашистских прихвостнях. В Ленинграде была раскрыта организация школьников, в которой прямо проповедовались гитлеровские лозунги и которая была построена по гитлеровскому образцу. Она была раскрыта, когда ее участники повесили (неудачно) одного мальчика.

Насколько я знаю, участниками были действительно только школьники (несколько сот!). Это послужило предлогом для того, чтобы, в частности, секретарь Ленинградского обкома Толстиков объявил дело политически несущественным.(...) Таким образом, и в этом случае речь идет о том, что те самые работники аппарата, которые организовали травлю ни в чем не повинного поэта Бродского и объявляют противников возврата к сталинскому режиму чуть ли не преступниками и изменниками, [готовы] покрывать изобличенных приверженцев фашизма.

Февраль 1966 года

1/ Этот месяц ознаменован судом над Синявским и Даниэлем. Снова не буду писать о том, что известно из газет..., только неоглашенные или малоизвестные факты:

Еще в январе общество, во всяком случае его передовые представители, проявили свое отношение к делу. Поводом послужила гнуснейшая статья... в «Известиях» от 13.01., где ряд оборотов был прямо взят из речей Вышинского на процессах (сопоставляли). В «Известия» и ЦК было послано много писем с протестами по поводу характера статьи, «использования» людей, находящихся под следствием, открытого давления на суд и прямой клеветы. Таковую же реакцию вызвала статья в «Литературной газете» от 22.01. Не стану перечислять фамилии протестовавших.

Ничего не пишу о самом суде, на котором я не был. Отрицательное отношение к самому процессу со стороны мыслящей и честной части общества вылилось в различные формы:

а) Огромное впечатление произвели письменные сочувственные выступления после приговора, а также отклики руководства всех западных коммунистических партий.

б) Перед судом В.Иванов, Паустовский и еще несколько человек просили их допустить в качестве общественных защитников. Им отказали.

в) Помимо того, Копелев и несколько искусствоведов прекрасно написали объективные экспертные заключения для суда.

г) Профессор Дувакин выступил на суде в качестве свидетеля защиты и произнес панегирик Синявскому, назвав его «белым лебедем». Дувакина потом травили в МГУ, но, кажется, не отстранили от кафедры.

д) Очень скоро после окончания суда «самиздат» распространил довольно полные записи последних слов Синявского и Даниэля.... Ясно сказав о глухой стене, перед которой оказались обвиняемые, Синявский не объяснил, с какой целью публиковал за границей свои вещи. Для меня самое интересное в его слове было: «Да, я — другой, но не антисоветский». Последнее слово Даниэля было прекрасно и убедительно построено. Он совершенно разбил пункты обвинения и — это я счел очень важным — ясно показал, что он написал повесть «Говорит Москва», стремясь в такой форме привлечь внимание к угрозе возврата к сталинскому режиму и методам. Поразительно, что один мой собеседник (не близкий знакомый), выступающий открыто против ре-

билитации Сталина, не понял или, верней, не хотел понять эту сторону произведения Даниэля. Многие нашли, что Даниэль не должен был, особенно перед собравшимися в зале [суда] людьми, выражать сожаление по поводу того, что враги СССР могли использовать его произведения. Я считаю, что он правильно поступил, сделав такую оговорку в конце решительной и мужественной речи.

е) Выступление, после суда, председателя суда Л.П.Смирнова в переполненном зале клуба литераторов [ЦДЛ] было встречено крайне холодно, его забросали записками, сплошь критическими и недоброжелательными... Мое личное впечатление от доклада Смирнова: он совершенно не справился со своей задачей, хотя и мог повлиять на настроения части аудитории такими цитатами, как [из] «Говорит Москва»; но, в целом, стало всем ясно, что произведения обвиняемых, во 1-х, представляют большой интерес и, во 2-х, не дают оснований для судебного уголовного дела... Симптоматично, что сообщение Смирнова не достигло своей цели, скомпрометировало суд и по мнению таких писателей, о которых я знаю, что они были бы рады признать его [решение] убедительным....

ж) После суда мне стало известно о двух коллективных письмах писателей по поводу процесса. Одно — кажется, с 40 подписями — содержало просьбу пересмотреть приговор (Аксенов, Евтушенко, Гладиллин и др.). Другое, которое подписали более 60 членов Союза писателей, содержало просьбу отпустить Синявского и Даниэля на поруки. Я уверен, что было еще немало письменных и устных выступлений с критикой процесса... В бюро профкома литераторов при издательстве «Советский писатель» единодушно исключили Даниэля из профсоюза. Но на секции переводчиков профкома Хинкин и другие выступили против приговора, и их поддержало большинство... Я поручил выяснить, нельзя ли профсоюзу взять на поруки Даниэля и Синявского, но к 29.08. ответа не получил.

Но как бы ни была организована кампания по поддержке суда, — существенной и новой чертой положения является, что впервые официальная кампания не только не получила широкую поддержку, но, более того, явно обнаружила и документированно не одобрила процесса значительная часть общества. Секретариат Союза писателей готовил собрание, на котором предполагалось по плану прошлых лет устроить «охоту за ведьмами», проработывать защитников Синявского и Даниэля, заставить принять соответствующую резолюцию. Но впервые не решились это сделать...

2/ 16 февраля я присутствовал на заседании в ИМЭЛ. Как стало известно за два дня до заседания, оно было создано для «проработки» книги историка А.М.Некрича «22 июня 1941 г.» (точное название: «1941. 22 июня». М., «Наука», 1965. — Сост.). Председатель Госкомитета по делам печати Михайлов объявил книгу «порочной», а начальник ПУРа Сов.Армии Египшев написал отрицательный отзыв и даже собирался прибыть лично на заседание. Но все сложилось иначе. Совершенно не стовариваясь (я тому свидетель), на заседание в ИМЭЛ прибыло не менее 300 историков, экономистов, международных работников — все сплошь квалифицированные научные работники. Собрание было переведено в самый большой зал Института. Организаторам стало ясно, что большинство пришло для того, чтобы дать отпор критике книги со сталинистских позиций. В книге Некрича, написанной всецело с принятыми установками, собраны все известные данные и приведены два новых доказательства, свидетельствующие о том, что Сталин был информирован о предстоящем нападении Германии на СССР.

Сообщение на заседании в ИМЭЛ делал Деборин, который, похвалив книгу, сделал пять основных критических замечаний, и все они — по отдельности и в совокупности — представляли собой попытку обелить, оправдать Сталина.

Выступило 18 ораторов, из них один из аппарата [ДК?] поддержал Деборина, один не коснулся острых вопросов, а 16 единодушно раскритиковали позицию и аргументы Деборина и на хорошем научном уровне вскрыли ошибки, просчеты Сталина. На меня произвело очень сильное впечатление выступление трех полковников в расцвете сил и находящихся на действительной службе. Один из них — полковник Генштаба, другой — член редколлегии «Военно-исторического журнала». Их критика по адресу Сталина и всей его политики, процессов и т.п. была самым внушительным и резким (не по форме, а по сути) осуждением Сталина и его деятельности, в основном накануне 1941 года, но не только.

Я также выступил. Копия стенографической записи, которую я получил для правки, у меня сохранилась.* Незнакомые мне молодые научные работники сказали мне, что я сказал максимум того, что надо было сказать «не выходя за рамки».

3/ 5 марта 1966 года, т.е. в годовщину смерти Сталина, скончалась Анна Андреевна Ахматова. Правление Союза писателей сделало все возможное, чтобы проводы великой поэтессы, которую травил Жданов и мракобесы, не послужили поводом для общественной демонстрации. Скрыли время выноса тела из морга и вообще не устроили никакого прощания столичной интеллигенции с А.А.А. Как прах Пушкина тайно на перекладных увезли из Петербурга, так прах Ахматовой скрытно переправили на самолете в Ленинград. Все же у морга больницы Склифосовского утром собралось человек 500 (там была моя жена). Митинг был открыт частным лицом — Ардовым, и в качестве частного лица выступил с превосходной речью Арсений Тарковский и из Ленинграда — [Ефим] Эткинд. Многие поехали на аэродром и затем вместе с гробом на самолете полетели в Ленинград. Там была панихида в церкви Николая Морского и гражданская панихида в Союзе писателей (кажется). В церкви побывало свыше 4 тысяч человек, но радиотрансляции не было, и большинство не слышало сильных речей О.Берггольц и академика М.Алексеева. Был также Михалков от Союза писателей; кое-кто жаловался, что молодежь вела себя не вполне корректно в том смысле, что больше была занята съемкой похорон, чем участием в церемонии. Но хорошо, что засняли. Организацией похорон и погребением активно занимался поэт И.Бродский, а рядом с ним — директор Литфонда, выступавший в свое время как лжесвидетель на суде над Бродским.

13 апреля

...Всего несколько дней прошло после окончания [XXIII] съезда и, хотя только начинается агитационная кампания по пропаганде его решений, — уже

* Стенограмма обсуждения широко разошлась в самиздате. Фрагмент выступления Е.А. мы приводим в приложении к данному тексту (см.стр.135). Там же помещены отрывки из написанного Е.А. в 1976 г. комментария к стенограмме. В том же 1976 г. Е.А. подготовил для самиздатовского исторического сборника «Память» статью «Из истории отношений между СССР и фашистской Германией. Документы и современные комментарии» (впоследствии выпущенную отдельной брошюрой в нью-йоркском издательстве «Хроника»). Основу статьи составили тезисы, написанные Е.А. в 1965 г. Отрывки из этой статьи также приводятся в приложении. — Сост.

чувствуется снова и будет усиливаться гнетущее ощущение, тревожное понимание того, что ни одна из острых проблем не разрешена. Катастрофическое положение с[ельского] х[озяйства] может привести к голоду; давно ясно, что нужны меры огромных масштабов, а не просто увеличение капиталовложений, как в какую-нибудь отрасль промышленности.

То, что экономическая реформа не вышла из стадии ограниченного эксперимента, создает в промышленности еще более запутанное положение, чем оно было до реформы...

...Моя статья в №3 «Нового мира» сразу вызвала оживленные и весьма одобрительные отзывы лиц самых разных профессий. Получилось так, что написанная год назад статья о бюрократии XX века, воспринята теперь как непосредственный ответ на реакционную травлю интеллигенции бюрократами из обкомов и др. мест. Т.о., статья стала событием общественной жизни после съезда. Замечу: (а) в первом варианте был специальный раздел о бюрократизме при социализме, но его редакция не решилась опубликовать и опубликовала лишь ту часть, которая действительно (кроме марковского анализа бюрократии) была посвящена бюрократии финансового капитала; (б) эта часть, после поправок перестраховочного характера, содержит элементы упрощения и вульгаризаторства, чем я был сильно огорчен при окончательной подготовке статьи к печати. Но я ничего не мог сделать, именно в эти дни над «Новым миром» нависла угроза разгрома. (Она, кажется, миновала).

На односторонности освещения темы в части, касающейся США, уже указал мне один знаток проблемы. Но преобладают выражения удовлетворения. Как мне сказал сегодня один доктор экономических наук, — сейчас во всем, что приходится читать, хотя бы и по древней истории, — невольно замечаешь «подтекст». Тем более в статье о бюрократии...

Парадокс: статья, в которой я вынужден отступить от своего решения объективно освещать проблемы капитализма, тем не менее не вызвала у меня укоров совести.

Появление этой статьи как-никак моя личная заслуга не только как автора. Ведь я писал в сентябре в редколлегии и в январе — Твардовскому лично, доказывал, что перед съездом принципиально важно опубликовать статьи по проблемам бюрократизма как эпохального явления. Твардовский лишь дал толчок подготовке на стадиях печатания, и благодаря этому ее удалось втиснуть в №3, когда цензура в последний момент сняла одну за другой две статьи... Мою статью цензура пропустила, а результат: оживленная, одобрительная реакция общества. Но вовсе не в том смысле, как этого хотели бы цензоры и их хозяева!

8 июня

Со второй половины мая в газетах явственно отразились решения стимулировать и ускорить проведение экономической реформы. По всем данным, с начала будущего года действующие [?] цели отрасли перейдут на новое планирование. Тогда...придадут реформам всеобъемлющий характер. Партаппарат и финорганы во многих местах саботируют перестройку, и «Правда» корит, критикует горкомы и обкомы с новых позиций. Но все это еще только проблески. Сказанное не отменяет

моей негативной оценки практических результатов съезда, и вместе с тем свидетельствует о том, что «крот рост», а в этом я никогда не сомневался.

23 июня

В «Правде» опубликованы две разные статьи, но отражающие единый процесс. Одна статья, Бурлацкого, — о проблемах экономической реформы в Венгрии. Мы узнаем об угрозе безработицы, о возможности выхода на внешний рынок крупных предприятий. Серьезная статья, которая бросает свет на наши проблемы. О них — статья первого секретаря Псковского обкома Густова: «Банк и колхоз». Смелая защита новых форм кредита, критика финансовых органов и Госбанка (я уже писал о том, что через финорганы можно засаботировать перестройку)... Учащаются признаки того, что начинается размежевание внутри аппарата...

24 июля

...А между тем снова доходят сведения о [неэффективности(?)] руководства и поразительной безыдейности его ближайшего окружения, да и всего аппарата. В том, что партийный аппарат во всех его звеньях почти всегда работает вхолостую, редко приносит пользу, часто приносит вред, — сомнений нет.

Реформы в промышленности проводятся, но вырождаются в бюрократические мероприятия, чуть ли не перестройку форм отчетности. Я слышал просто страшный рассказ крупного хозяйственника, очень честного и дельного человека, о цинизме министров и формализме в проведении реформы.

В с/х положение складывается несколько лучше, чем я сам писал, то есть нет угрозы непосредственной катастрофы или голода. Есть сведения об оживлении рынков во всех концах страны. Какие-то существенные сдвиги есть, но не созданы решающие стимулы. Официальный докладчик из ВАСХНИЛа ясно показал, что проблема оплаты труда колхозников не решена и неизвестно, как ее решить.

В области идеологии и культуры повторяется процесс, который уже был: тихой сапой реакционеры и карьеристы, душители и подхалимы закрепляют за собой позиции. Но возможны большие изменения...

На этой странице кончается место в тетради. А я вообще собирался перестать вести этот дневник. Не хочется апеллировать к далекому потомку или архивариусу. К тому же, и к этому дневнику относятся мои старые стихи:

*Только воду хранил я в походной баклаге,
Драгоценные вина не смел я беречь,
Только трезвые мысли вверял я бумаге
И легко забывал вдохновенную речь...*

1967 год

ПРИЛОЖЕНИЕ

... Мне пришлось в течение двух лет ежедневно подписывать секретную информационную сводку для Сталина и членов Политбюро. Я утверждаю, что источником информации для моих читателей являлось именно то, что отмечалось как сомнительное и недостоверное, потому что достоверная информация шла в обычном русле. А информация, которую мы оценивали как сомнительную с точки зрения той работы, которую мы делали, которую нам поручали, вот эта информация и вызывала интерес.

Учитывая этот свой опыт, я решительно отвожу утверждение, будто указание на сомнительный характер информации равносильно попытке ее скрыть... Помню, что если наступал такой период, когда можно было ожидать появления в моих сводках информации, условно называемой сомнительной, то ограничивался круг читателей. И был такой период, когда даже не все члены Политбюро получали этот довольно безобидный документ, потому что в нем содержались интересные «пресекавшиеся» сведения. Я главным образом и выступил с этой трибуны, чтобы подчеркнуть необоснованность всяких разговоров о том, что раз информация разбивалась по различным категориям, то Сталин якобы поэтому не был в ряде случаев правильно информирован. (...) Вместе с тем... не надо ставить вопрос только о личности Сталина... Если т.Деборин приглашает обсудить не только ошибки Сталина, но и систему управления государством, такая дискуссия возможна..., и я согласен, что ошибки Сталина и его пороки вытекали из предыдущего развития. Возьмем ноябрьские переговоры 1940 года. Если даже считать, что мы отвергли предложение Гитлера, если даже считать, что эти предложения были маскировкой со стороны Гитлера, то все же каков был характер отношений, раз Гитлер мог предложить нам присоединение к антикоминтерновскому пакту! Каков же был характер политики, если это можно было нам предложить? А ведь переговоры продолжались, контакт остался в силе.

Коснусь внутривнутриполитической стороны дела... В этой связи упомяну только... вопрос об информации. Ведь самая большая беда и, пожалуй, центральная проблема, связанная с недостаточной подготовленностью нашей страны к войне в 1941 году, это отсутствие свободной информации, хотя бы в рамках госаппарата, невозможность свободно высказать свою точку зрения даже в рамках секретного заседания.»

*(Из стенограммы выступления Е.А.Гнедина
в ИМЭЛ 16 февраля 1966 года)*

Когда я был привлечен к партийной ответственности за свое выступление на дискуссии в Институте марксизма-ленинизма, то должен был дать объяснения [октябрь 1967 г.]. Важнейшая мысль моего выступления как раз заключалась в том, что плодотворный анализ трагедии страны, связанной с началом войны в 1941 году, невозможен без анализа самой системы управления страной, а тем самым пороков государственного и партийного аппарата и всей политики Сталина....Такая постановка проблемы была связана с попыткой указать на подлинные намерения Сталина в 1941 году... Некоторые авторы высказывают мнение, что Сталин и в июне 41-го просто ошибся в расчетах; он думал, что война на Западе затянется и за это время удастся подготовить СССР, армию прежде всего, к конфликту с Германией. Это не точно. Ни заключение пакта в 1939 году, ни

усилия расширить соглашение с Гитлером в 1940-41 годах не были только плодом ошибочной оценки конъюнктуры.

...В обеих ситуациях решающую роль (наряду с просчетами) играла сама ориентация на сотрудничество с фашистской Германией как сильнейшей державой, с которой можно было поделить Мир.

...Завершая комментарии, необходимо уточнить постановку вопроса об информации. ...Суть дела выражена известной формулой: если в государстве отсутствует «обратная связь», то невозможно эффективно управлять жизнью страны. Но, разумеется, проблема имеет гораздо более широкое, принципиальное значение.... Непременным условием здорового развития общества является широкая свобода разносторонней информации, обеспечение ее правдивости, широкой гласности. И, конечно, я имел в виду именно эту проблему, когда завершил свою речь в 1966 году словами: «Вопрос о точности и правдивости информации злободневен и сегодня».

(Из комментариев и дополнений, написанных в 1976 г.)

— При сложившихся [в 1939 г.] обстоятельствах избежать необходимости сделать попытку договориться с Германией ради того, чтобы предотвратить ее нападение на СССР, — было трудно. Еще труднее было не использовать возможность, открывшуюся, когда гитлеровская дипломатия сформулировала свои предложения. Эта констатация вовсе не исключает того, что создававшаяся ситуация и согласие Гитлера на сговор со Сталиным были подготовлены не только внутренней политикой Сталина, но и тайными предыдущими прогерманскими маневрами Сталина [1933-38 гг.], характер и существо которых еще не раскрыты. (...)

— Таким образом, признание возможной необходимости или неизбежности в 1939 году маневра, предотвращающего немедленное нападение Германии на СССР, отнюдь не означает положительной оценки того конкретного маневра, какой был произведен Сталиным, того пакта, который был фактически заключен. Сталинский сговор с Гитлером, политика союза с фашистской Германией, которую проводили Сталин и Молотов после 1939 года, фактический отказ от антифашизма и поддержки антифашистских сил в мире — весь этот политический курс и мероприятия с ним связанные можно оценить только отрицательно и заклеймить как с точки зрения государственной целесообразности, так и с принципиальных позиций...

— Как очевидец событий я могу говорить о периоде до лета 1939 года. Вплоть до моего ареста в мае 1939 года, я, не зная, конечно, подлинных намерений Сталина или Молотова, имел представление о том, какой информацией располагает правительство, по крайней мере в рамках дипломатической информации и информации, основанной на критическом анализе сообщений печати. Хотя я был активным, можно сказать эмоциональным, проводником и организатором кампании в печати по разоблачению западной политики капитуляции перед гитлеровской Германией, все же я считал и имел основания думать, что правительство (не только М.М.Литвинов) считает, что возможность оказать коллективный отпор германской агрессии вовсе не отпала... Так, однажды я имел возможность получить представление о точке зрения Сталина. 23 октября 1938 года я опубликовал в «Известиях» согласованную с М.М.Литвиновым статью «Мюнхенский баланс»..., где автор указывал, что «Мюнхен — не договор о мире, а договор о войне, ..., начало нового периода активности агрессоров, прямо направленной против Англии и Франции». Я объяснял мюнхенский сговор тем, что европейская реакция боится победы над Гитлером, потому что для этого необходимо участие в борьбе СССР, а победа поведет

к его усилению. На другой день редактор мне сообщил, что звонил Ворошилов и хвалил статью, ...давая понять, что передал отзыв о статье лично Сталина. ...В этих условиях такая редкая реакция Сталина позволяет сказать, что тогда Сталин — поскольку условия для реализации его тайных планов еще не созрели — считал уместным и правильным такое понимание сложившейся в Европе ситуации, из которого вытекало, что готовится война не против СССР, а по-прежнему против Западной Европы, и что существуют силы («европейская демократия»), естественным союзником которых является СССР. Такова была оценка положения к концу 1938 года....В этом отношении март-апрель 1939 года стали знаменательными месяцами.... Я готов высказать предположение, что именно потому, что Сталин понимал значение назревшей эволюции на Западе в пользу отпора Германии, он поторопился удалить Литвинова ... и арестовать его ближайших сотрудников. Так готовился ранее намеченный отказ от участия в отпоре гитлеровской Германии, подготовлялось сотрудничество с нею.

Предыстория и история пакта от 1939 года могут служить одним из объяснений трагедии июня 1941 года. Я приблизился к пониманию этой стороны дела в речи, произнесенной при обсуждении книги А.М.Некрича.

(Фрагмент статьи «Из истории отношений между СССР и фашистской Германией», 1976)

В ПРЕЗИДИУМ IV СЪЕЗДА СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Мне стало известно содержание письма А.И.Солженицына в Президиум съезда писателей. Считаю своим гражданским и партийным долгом заявить о своем согласии с мыслями, высказанными тов.Солженицыным.

Думаю, что никогда вообще не существовало такой, как сейчас в нашей стране, предварительной цензуры, осуществляемой лицами, часто мало компетентными, и во всяком случае, как общее правило, менее компетентными, чем редактор или автор. Кроме того, цензура над художественными и публицистическими произведениями осуществляется учреждением, по положению созданным и предназначенным для охраны государственной тайны и для предотвращения антигосударственных выступлений. Таким образом, Главлит формально превышает данные ему полномочия, а самая деятельность цензуры оказывается незаконной и как бы нелегальной или неофициальной. Такое положение не может не развращать и писателей, и цензоров, какими бы они субъективно хорошими побуждениями не руководились.

У меня нет сомнений, что существующий порядок цензуры и ее практики полностью противоречит духу и достоинству передового социалистического государства.

В качестве моего «вклада» в бесспорно обильный материал, иллюстрирующий критику положения дел с цензурой, сообщаю, что в моей статье «Хорошие европейцы», опубликованной в апрельском номере журнала «Волга», саратовское Лито выбросило абзац, в котором я цитировал слова генерального секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнева о том, что деятельность китайских раскольников вызывает «суровое осуждение и горькое сожаление».

24 мая 1967 г.

*Член Союза журналистов
Гнедин Е.А.*

ИЗ ДНЕВНИКА МОСКОВСКОГО ИНТЕЛЛИГЕНТА

1968-й

Конец июля — начало августа

...Весь запад нашей страны был охвачен мобилизацией, оформленной как всеобъемлющие «учения тыла». В пяти областях были призваны резервисты, и люди были сняты с сельскохозяйственных работ (во время уборки урожая!).

В партийных и, конечно, военных и полицейских органах были отменены отпуска; в учреждениях организованы круглосуточные дежурства.

Это то, что я могу присовокупить к газетной информации о военных маневрах у границ Чехословакии со стороны СССР, Польши и ГДР. Говорю об этом, потому что есть различия между военной демонстрацией и чем-то большим: приведением в мобилизационную готовность большей части страны и всех тыловых служб.

...В день отъезда советских руководителей в Чиерне-на-Тисе я встретил человека, тесно и постоянно связанного с международным отделом ЦК [КПСС]. Не будучи моим близким знакомым, он панически и настойчиво утверждал, что советские руководители подготовили ультиматум, в котором содержится, в частности, требование о восстановлении цензуры и об изменениях в составе руководства КПЧ... В случае непринятия этих требований — интервенция(...)

...Твердость позиции руководства КПЧ и народный подъем в Чехословакии — это такие факторы, которые говорят о том, что в случае интервенции будет дан отпор и, каковы бы ни были преимущества интервентов, последствия необозримы и катастрофичны.

...Угроза возможных потрясающих разоблачений сталинской политики может ускорить решение вмешаться в чехословацкие дела.

11 августа

...Несомненно, правительству было ясно, что Чехословакия не меняет своей внешнеполитической ориентации и далека от той линии, которую уже проводит Румыния. Между тем против Румынии репрессий не предпринимали. Следовательно, нажим, травля, угроза вмешательства и готовности перейти к военным действиям — все это обусловлено не опасением, что ЧССР будет потеряна с внешнеполитической или военно-стратегической точки зрения; все сводится к страху перед внутривластным курсом на демократизацию.

Сокращенный вариант текста, хранящегося в архиве семьи Гнединых; в более полном виде опубликован в газете «Куранты» № 62 (577) от 2.04.1993.

угах ниже правительственных, среди секретарей обкомов, в среде министерской и партийной бюрократии, вероятно, есть люди, которые поверили газетным сообщениям о возможности выхода ЧССР из социалистической системы и о реальной опасности «контрреволюции» в Чехословакии. Но в основном на всех ступенях правительственного аппарата преобладают чувства, охватившие всю касту: недовольство, вплоть до возмущения, стремлением к демократии и личной свободе, опасения, вплоть до страха, что ослабление диктаторского режима, особенно отмена цензуры, подрывает позиции и власть аппарата, создает угрозу его привилегиям. Мне рассказывал человек, проведший дни кризиса в редакции «Правды», что он был поражен тем, с какой откровенной злобой там говорили о необходимости подавить танками «антисоциалистические силы» в ЧССР. Мне рассказал и собеседник замминистра промышленности министерства, что тот в частной беседе высказывался за применение танков против Чехословакии. Как заметил один ответственный работник Совета Министров, рассуждения о необходимости применить танки считаются «в верхах» признаком «партийного подхода» к событиям.

Надо раз и навсегда отдать себе отчет в том, что готовность пойти на изоляцию от [международного] рабочего движения, подготовка военной авантюры, игра с возможностью европейского пожара — все это в основном обусловлено стремлением сохранить внутриполитический режим, привилегированное положение бюрократической касты.

Наряду с этим играют роль опасения перед перспективой сепаратизма в самом Советском Союзе и страх перед возможностью внутриполитических беспорядков.

28 августа

...Отныне мы будем снимать шапки, проходя мимо Лобного места на Красной площади.

4 сентября

Вторая половина августа была столь горестной и волнующей, что невозможно было делать записи в дневнике...

Сопоставляя сведения о планах вооруженного вмешательства и о подготовленном ультиматуме с тем, что фактически произошло, констатирую, что планы и график интервенции, совершенной во второй половине августа, были полностью разработаны в июле (если не ранее), и их предполагали реализовать в конце июля. Выразаясь юридически: имеются налицо отягчающие обстоятельства — убийство с заранее обдуманными намерениями.

Реакция коммунистических партий Югославии, Румынии и народа Чехословакии была такой, какую можно было предвидеть. Вместе с тем цинизм и самоуправство интервентов, пожалуй, превзошли ожидания. То, что дело не дошло до обстрела городов и подавления народных выступлений танками, объясняется не великодушием интервентов, а тем, что чехи и словаки избрали и сумели осуществить довольно эффективное пассивное сопротивление. Это, может быть, главная «новинка» в произошедших событиях. Этим пассивным сопротивлением народа и личным мужеством чешских руководителей — всем этим и объясняю то, что оккупантам, по крайней мере сейчас, пришлось примериться с пребыванием у власти прежнего руководства и даже ошельмованного 22 августа так называемого правооппортунистического меньшинства во главе с Дубчеком.

...В целом, иллюзий быть не может: Чехословакия оккупирована; цензура введена, зачатки демократии ликвидированы; европейское коммунистическое движение обречено на длительный, вернее постоянный, кризис; Россия опорочена в глазах друзей и врагов; политика мирного сосуществования скомпрометирована; если мир не скатится к третьей мировой войне, то только по той причине, что это — глобальная катастрофа. Поэтому будут изыскиваться суррогаты мирного сосуществования, но тень событий августа 1968 года на многие годы омрачит международное положение.

Реакция правительств крупных держав Европы была, пожалуй, растерянной, практически неэффективной и напомнила мне позицию держав в связи с захватом Чехословакии Гитлером в 1938 году.

...Зависимость действий правительства СССР от реакции правительства США обнаруживается также в том, что в разгар нажима на Румынию и концентрации войск у ее границ эта авантюра была заторможена после заявления Джонсона в защиту Румынии — более твердого, чем его декларация в пользу Чехословакии.

Мрачная страница — реакция советского общества. Полная дезинформированность большинства и политическое невежество привели к тому, что либо люди верят, будто Чехословакия действительно хотела выйти из Варшавского пакта или будто ФРГ (при вице-канцлере Брандте) действительно была готова напасть на ЧССР, либо люди верят, что в Чехословакии готовился контрреволюционный переворот. По этой версии получается, что сопротивление интервенции (40 000 в подполье и десятки радиостанций) организовали всеильные «контрреволюционеры». Из обеих предпосылок обыватели делают выводы, проникнутые национализмом, даже великодержавным шовинизмом; они делают выводы, исходящие из представления, что отход от социализма, как его понимает официальная пропаганда, есть нечто дурное, во всяком случае вредное.

...Я не потерял веры в то, что в конечном счете истина пробьет себе путь в общественном сознании, но сейчас у меня такое мрачное настроение, какое бывало в худшие сталинские времена.

Октябрь

В день начала процесса над демонстрантами на Лобном месте я был у здания суда и чуть не попал в самое помещение суда. Информацию о ходе заседания люди, стоявшие у суда, получали к концу дня. Не буду записывать пережитое. Общее впечатление от обстановки перед зданием суда: собравшиеся интеллигенты (человек 100-150), хотя и собирались группами и сходились то в одном, то в другом месте, в общем держались спокойно и никаких «экстремистских» намерений не имели. Власть явно нервничала и создала атмосферу психоза и провокаций. Невдалеке стояли явные громилы, подготовленные для того, чтобы устроить побоище. Мне указали на одетого в штатское генерала КГБ; он окидывал «орлиным взором поле битвы» и производил довольно жалкое впечатление.

А.Д.САХАРОВУ —
автору «Размышлений о мирном сосуществовании,
прогессе и интеллектуальной свободе»

Многоуважаемый товарищ Сахаров!

Мне показали рукопись Вашей брошюры и сказали, что Вы желали бы знать мнение Ваших первых читателей. Поэтому я позволяю себе в письме, не будучи с Вами лично знаком, изложить некоторые соображения, по необходимости самого общего характера; я лишь один раз быстро прочел Вашу глубокую и важную работу, побуждающую к размышлениям.

Важнейшая проблема — возможность конвергенции, сближения двух основных систем, существующих в современном мире. Это одновременно проблема и внутренней и международной политики (понимая слово политика в возможно более широком смысле). Несмотря на тесную связь обеих сторон развития, приходится все же, анализируя ход Ваших мыслей, отделить внутривнутриполитическую проблематику от международной. Сформулированные Вами оценки и предположения в области внутривнутриполитической в целом неоспоримы и реализуемы при определенном соотношении общественных сил. Предположения по международной политике не всегда точно сформулированы, во многом абстрактны. Возникают вопросы терминологические и методологические, то есть касающиеся самой постановки вопроса.

Мне думается, что обе мировые системы надо рассматривать в развитии: тогда перспектива ликвидации «разобшенности» (термин неточный) становится реальной; следовательно, я возражаю против предположения о подлинном сближении, а тем более слиянии (неверная терминология) существующих систем, таких, каковы они сейчас, но считаю, что историческое развитие приведет их к сближению (если не к общей гибели). Обе системы стремятся к одному и тому же пределу. Будет ли это катастрофа или «система X» — об этом идет разговор. Пишу «система X», чтобы было ясно, что речь идет не о подчинении одной системы другой, не об их механическом слиянии. Лично я уверен, что «система X», к которой может прийти человечество в целом, если выживет, будет социалистической.

Итак, сама предпосылка прогноза на будущее и планирования развития в настоящем таит в себе возможность конвергенции, трансформации к социализму. В этой перспективе — спасение человечества. Стимулировать этот процесс надо уже сегодня, в этом я с Вами согласен. Но, формулируя на этой основе задачи в области международных и межгосударственных отношений, нецелесообразно излагать «благие пожелания», по самой природе своей уязвимые.

Правда, провозглашение некоторых общих принципов — важное дело. В настоящий момент необходимо предложить миру «пауцифистскую программу», как

Из архива семьи Гнесдиных.

назвал Ленин советские предложения в Гене в 1922 году. Основы такой современной «пацифистской программы» содержатся в Вашей работе. Но, как и в 1922 году, общие положения, являющиеся порой мощным средством воздействия на общественное мнение, должны сочетаться с предложениями, хотя и универсальными, но реальными, и во всяком случае согласованными с реальными государственными интересами, которые не противоречат делу мира и спасения человечества. Тогда такие предложения не сможет оспаривать ни та, ни другая сторона. Желательно отделить предпосылки от следствий, вернее, первичные мероприятия от вторичных. В качестве примера, который мне запомнился, укажу на проект налога в 20% для поддержки слаборазвитых стран. Такое мероприятие может быть лишь следствием новой политики во взаимоотношениях прежде всего обеих «супердержав» и изменения политической обстановки в западных странах; иначе произойдет то, что уже происходит: либо фарисейство, либо использование кредитов для антинародных целей.

Вы употребили выражение — «мировые идеологии», очевидно, имея в виду, что они заняли место мировых религий. Я бы не стал употреблять такую терминологию. Дело не только в том, что идеологии ещё не вытеснили религию. Вопрос об определении понятия «идеология» сейчас предмет глубоких исследований. К тому же современные идеологии зачастую лишены монолитности и цельности, и самый термин стал расплывчатым и переменчивым. Конечно, это — проблема далеко не только терминологическая. Парадоксальным образом, как раз догматики, оберегающие чистоту «идеологических риз», забыли, что идеология — производное от общественного развития; вредное или полезное «воздействие» на идеологию имеет те или иные результаты в зависимости от сложившейся в определенных условиях психологии людей и социально-экономических предпосылок. Ходячая формула: «невозможность мирного сосуществования противоположных идеологий» — сильное пропагандистское орудие, но по существу бессодержательная фраза. Когда мы говорим о мирном сосуществовании государств (или систем государств) с противоположным социально-экономическим укладом, то имеем в виду совершенно реальное и содержательное предположение, что противоречия между такими государствами не должны разрешаться силой оружия, военной силой. Но спор идеологий вообще, по природе, не разрешим силой оружия, да и вообще насилем. Более того, насилие ради осуществления идеи как таковой порочит эту идею (как идею). Идеи могут быть непримиримы, несовместимы, но они неизбежно сосуществуют в общественном сознании, в обществе да и в рамках всего человечества. Эту мысль я включил бы в современную «пацифистскую программу», причем, по-моему мнению, это не только не ослабило бы силы наших идей, а, наоборот, их укрепило бы.

Сформулированная мною мысль согласуется с ходом Ваших рассуждений и может служить аргументом против догматического ожесточения и бюрократического произвола в области культурной жизни.

Поскольку я считаю проблему преодоления бюрократизма и борьбы против бюрократизации государственной, экономической и общественной жизни — проблемой века (ей посвящена моя статья в «Новом мире» — «Бюрократия XX века»), я, конечно, склонен был бы усилить этот аспект в освещении внутриполитических вопросов, за самую постановку которых позвольте Вас поблагодарить.

Несколько терминологических замечаний, сложившихся при чтении.

При сопоставлении развития обеих систем модель «новая лыжня» не вполне правомерна в одностороннем толковании. Так, например, планирование народного хозяйства — это новая лыжня, которую мы пробивали ценой больших трудностей, частично объясняющих временную «потерю темпа».

Усиление классовой борьбы нельзя просто назвать мифом. Такая мысль возникает лишь потому, что слишком часто догматики, вульгаризаторы и просто безыдейные авторы переносят на современные социальные противоречия устаревшие представления, критерии, либо подгоняют действительность под удобные для них схемы: наконец, существует жупел обострения классовой борьбы, используемый ради бюрократических интересов. По этому вопросу достаточно сформулировать мысль о необходимости свободного и творческого анализа современных форм классовых противоречий, а также иных социальных противоречий.

«Мировые демократические силы» — понятие расплывчатое; следовательно, их единство — ещё более неопределенное понятие.

Я запомнил выражение: «в маоистском смысле хозяева компартий». Такая обобщенная формула неверна и даже вредна. Тут необходима дифференциация и анализ конкретных условий.

«Временная победа правых тенденций», — несколько поспешная и неточная формулировка с самых разных сторон.

Точно так же мне представляются неточными термины: «левые коммунисты» и «левые западники», особенно в том контексте, в каком Вы их употребили.

«Многopартийная система» — вероятнее всего архаизм в современных условиях. Современному обществу жизненно необходима свобода обсуждения, дискуссий, сопоставления мнений и интересов различных социальных групп, демократический эффективный контроль над бюрократией (а то и технократией), но приходится усомниться в том, что такая цель в современном обществе может быть достигнута посредством устаревшей модели «многопартийности».

Итак, я написал обо всем, что запомнил и что думаю. Надеюсь, Вы воспримете моё письмо как выражение глубочайшего к Вам уважения и доверия.

Был бы рад, если бы Вы сочли возможным тем или иным способом подтвердить получение моего письма.

Гнедин Евгений Александрович, тел.К4-53-79

18 июня 1968

О ПРЕПЯТСТВИЯХ НА ПУТИ К ДЕМОКРАТИЗАЦИИ И ИХ ПРЕОДОЛЕНИИ

*Академику АН СССР А.Д.САХАРОВУ,
математику В.Ф.ТУРЧИНУ,
историку Р.А.МЕДВЕДЕВУ*

Уважаемые товарищи!

1. Мне удалось познакомиться с Вашим письмом руководителям партии и правительства от марта 1970 года, в котором вы с большой убедительностью говорите о настоятельной необходимости провести ряд мероприятий, направленных на дальнейшую демократизацию общественной жизни нашей страны...

...Оставаясь на государственной точке зрения и рассчитывая на поддержку руководства страны (только такой подход к делу и может быть эффективным), вы говорите: «Проведение демократизации по инициативе и под контролем высших органов позволит осуществить этот процесс планомерно, следя за тем, чтобы все звенья партийно-государственного аппарата успевали перестроиться на новый стиль работы, отличающийся от прежнего большей гласностью, открытостью и более широким обсуждением всех проблем».

Представление о «подконтрольной демократизации» есть и сильная и слабая сторона предложенного вами метода расширения демократии в жизни общества. Сила предложенной вами методологии: процесс демократизации, гласность, стимулирование инициативы с мест, демократическая перестройка работы средств массовой коммуникации, доведение экономической реформы до конца в её первоначальном варианте в соответствии с требованиями научно-технической революции и потребностями задержавшегося экономического развития, свобода творческой деятельности, — этот процесс преобразований не должен войти в противоречие с существующей в стране общественной системой и структурой руководства, не должен нарушить стабильность нашей государственной и общественной жизни. Всякий здравомыслящий человек согласится с этим; демократизация нам нужна не как самоцель и не должна быть источником неурядиц, а наоборот, должна обеспечить гармоничное развитие общества, благополучие населения в условиях подлинно всестороннего расцвета материальной и духовной культуры. Между тем слабость предложенной вами методологии заключается именно в том, что гармоничное развитие и научное руководство, вернее его осуществление на

Сокращенный вариант текста, хранящегося в архиве семьи Гиндиных.

демократических началах, стало бы нереальным, если бы процесс демократизации находился под контролем такого аппарата, в котором, как вы справедливо говорите, преобладает «бюрократический, ритуальный, догматический, официально лицемерный и бездарный стиль».

Понятно, что и вы, и я далеки от того, чтобы эти эпитеты распространить на всех работников партийного и государственного аппарата, на все его звенья. Нет сомнения, что на различных уровнях, от самого высокого до низового, имеются советские патриоты, которые либо уже сейчас думают над проблемами демократической перестройки нашей жизни, либо горячо подхватили бы эти идеи, если бы им стало известно, что они поставлены в порядок дня. И тем не менее, мы вводили бы в заблуждение и самих себя, и других, если бы не констатировали, что бюрократический аппарат и выработанный им стиль работы — это серьезнейшее препятствие для прогрессивного развития страны на основах социалистической демократии. Ведь вовсе не исключено и прямое сопротивление отдельных звеньев аппарата проведению даже частичных мероприятий по демократизации общественной жизни и охране демократических прав. Нет надобности приводить в письме к вам примеры из совсем недавнего времени. Они вам хорошо известны. Подчеркну только в обоснование излагаемого здесь хода мыслей, что необходимость в защите прав человека возникла именно в связи с незаконными и произвольными действиями бюрократизированных звеньев государственного, судебного аппарата и администрации, например, таких общественных организаций, как ССП. Ведь не от партии, не от государства как такового приходится защищать права отдельных граждан, погранные самым явным образом, а именно от бюрократов, подменяющих государственные задачи и государственную дисциплину охраной групповых интересов, причем эти лица, а порой и группы, не чужаются прибегать к аргументации, заведомо противоречивой; выступая в качестве хранителей партийной идеологии, эти люди игнорируют те положения, которые они же ранее защищали с применением тех же репрессивных мер. Фальсификация идеологии — одна из типичных черт новой бюрократии, о чем я ещё скажу.

Таковы некоторые предварительные общие соображения, в силу которых я полагаю, что оздоровление жизни нашего общества на первых порах надо стимулировать *не столько подконтрольной демократизацией, сколько демократическим контролем*, ограничивающим возможность произвола и беззакония...

...Между тем объективное изучение предпосылок современного бюрократизма и других недостатков в общественной жизни, несомненно, требует творческого сочетания марксистского анализа процессов, происходящих «в базе и надстройке» с современными достижениями науки управления, исследования проблем информации и связи, кибернетических и математических моделей.

Под таким углом зрения надо исследовать, например, такую проблему, как противоречие между современными методами обеспечения эффективности «больших систем», народохозяйственных комплексов — с одной стороны, а с другой — вытекающей из этих новых методов управления централизацией в рамках крупномасштабных организаций, а отсюда бюрократизацией. Эти явления весьма отчетливо дают себя знать в развитых капиталистических странах, и ана-

лиз возникших там противоречий мог бы дать большой материал и для понимания происходящих у нас процессов. Речь идет о новейших предпосылках бюрократизации, за которые наша бюрократия не несет «персональной ответственности». Однако, несомненно, что отрицательные явления, возникающие в условиях научно-технической революции, усугубляются в нашей стране в связи с тем, что в ней уже сложился чрезмерно централизованный и бюрократизированный аппарат управления, о котором уже достаточно сказано.

С этой центральной проблемой связана проблема информации и обратной связи в управлении страной и экономикой. Анализируя значение этой проблемы для дела преодоления бюрократизма в интересах демократизации, обнаруживаешь переплетение объективных и субъективных факторов. Объективные факторы — это сложность обеспечения обратной связи в сложившихся в обществе «больших системах» при наличии непредусматриваемых и неконтролируемых помех.

Между тем трудности обеспечения обратной связи в общественной и государственной жизни — одна из предпосылок её бюрократизации. В этой области и субъективная прямая вина бюрократии весьма велика и имеет неисчислимые пагубные последствия. Неполнота, недостоверность, а порой и лживость информации, которую получает через газеты и радио советское общество, — настоящее бедствие. Но в этом сила — определенных бюрократических групп.

Надо отметить и то обстоятельство, что внутри самого государственного аппарата информация часто извращается; иными словами, действует дефектная система обратной связи. В результате может оказаться под вопросом обоснованность и эффективность решений, принимаемых в рамках крупномасштабных организаций, да и всей страны.

Из сказанного вытекает, что, поднимая вопрос о «подконтрольной демократизации» или демократическом контроле, надо бы поставить вопрос о разработке кардинальных проблем, связанных с эффективностью методов управления в свете научно-технической революции, проблем информации и обратной связи...

...**Заключение.** В дополнение к вашей позитивной программе гибкой демократизации я в отдельных пунктах моего письма попытался сформулировать конкретные предложения по различным вопросам.

Я исходил из того, что осуществление постепенной, планомерной, подконтрольной демократизации или новых форм демократического контроля требует предварительной подготовки, разработки ряда вопросов, относящихся к самым различным сферам государственной и общественной жизни. При разработке этих разнообразных проблем ключевой задачей должно быть преодоление, пресечение, предотвращение влияния и последствий бюрократизации нашей общественной жизни, противопоставление демократической инициативы и общественной активности производству и интригам бюрократических групп.

Очевидно, что выполнение этих задач нуждается в определенном организационном обеспечении. В качестве исторического примера напомним, что в двадцатых годах существовала основанная Керженцевым и Гастевым так называемая «Лига времени». Ячейки этой организации существовали во многих учреждениях и на предприятиях, в состав бюро этих ячеек входили представители партбюро

этих учреждений; задача «Лиги времени» была двойкой (обе стороны были тесно связаны): борьба с бюрократическими формами работы аппарата и рационализация (НОТ) производственных процессов.

Конечно, я не предлагаю просто через сорок лет в новых условиях возобновить деятельность «Лиги времени», к тому же существовавшей недолго. Но я выражаю убеждение, что из выдвинутой вами программы вытекает необходимость коллективной её разработки и подготовки в определенных организационных формах. Один из возможных вариантов — обращение к правительству с просьбой разрешить создание добровольного общества по разработке проблем рационализации и социалистической демократизации (проблемы научно-технического прогресса и экономики, острые проблемы сельского хозяйства и жизни на селе, запросы молодежи и большие вопросы, волнующие деятелей литературы и искусства). Поскольку бюрократические извращения сказываются во всех областях нашей жизни, в состав проектируемого добровольного общества должны были бы войти представители разных профессий, а результаты его работы могли бы оказаться полезными самым различным государственным и партийным учреждениям. Дискуссии в таком обществе были бы открытыми, итоги исследований публиковались бы для всеобщего сведения...

14/01/1971

(ГНЕДИН)

А.Д. САХАРОВУ

Многоуважаемый, дорогой Андрей Дмитриевич!

Вольномыслящий человек, сочувствующий Вашей деятельности, должен стремиться к тому, чтобы в той или иной форме оказать Вам посильную поддержку. А для того, кто уже подымал свой голос протеста против беззакония и произвола, выражая своё согласие с Вами, и даже участвовал в какой-либо предпринятой Вами акции, дальнейшая открытая поддержка Вашей борьбы — прямой гражданский долг. Это требование я отношу к себе, а между тем я сейчас этот свой долг не выполняю. Я воздерживаюсь от открытых выступлений по личным причинам, пожалуй, вполне уважительным, но, тем не менее, я вот уже скоро год испытываю горькое чувство, думая об этом или встречаясь с Вами и Вашей женой, соратницей.

Все же я пишу Вам это частное письмо, повинувшись внутренней потребности.

Я имел возможность прочесть Ваше предисловие к сборнику Ваших работ. Оно производит сильнейшее впечатление и внушает бодрость. Хочу сказать Вам, что я не только согласен с содержащимися в Вашей работе обобщениями, но мне также близок отраженный в Вашем предисловии личный опыт соприкосновения с определенной частью государственного аппарата.

Поясню: мне пришлось многие годы, работая в государственном аппарате, наблюдать механизм управления — и опыт, полученный мною, совпадает с Вашим. Когда мыслящий человек стремится участвовать в государственном деле, которому придает важное значение и в справедливости которого он убежден, то постепенно этот человек обнаруживает, что, как Вы сказали, — его нравственному чувству наносится ущерб. Я болезненно это ощущал, оказавшись в руках следователей и палачей (этот мой опыт отражен в моих неопубликованных работах).

Субъективный опыт соприкосновения с верхушкой государственного аппарата может служить дополнительным стимулом для обобщенных объективных выводов, которые Вы формулировали и на практике (в отличие от других) применяете. С социологической характеристикой лиц, в чьих руках находятся рычаги управления, и с пониманием всей сложившейся системы управления нашей страной связано практическое значение позиции, занятой Вами в отношении условий разрядки напряженности. Действительно, разрядка напряженности и реальное, подлинное мирное сосуществование в международной жизни останутся под вопросом и под угрозой, пока не изменятся методы управления нашей страной и вся внутривнутриполитическая обстановка. Мне хочется привлечь Ваше внимание к историческому опыту. На протяжении всего периода между концом гражданской войны и вплоть до начала второй мировой войны внешнеполитические усилия по укреплению мира и предотвращению войны, да и вообще международное положение СССР, терпели ущерб из-за авантюр, перегибов и даже преступлений во внутренней политике (достаточно напомнить о международно-политических пос-

Из архива семьи Гнздиных.

ледствиях террора в деревне при раскулачивании или показательных процессах, но можно было бы привести и менее известные примеры).

Из сказанного Вы можете усмотреть, что в Ваших разногласиях с Р.А.Медведевым я на Вашей стороне, согласен с Вами. Собственно говоря, еще до того, как эта тема стала предметом полемики, я высказался по этому поводу, когда в отклике на Ваше выступление писал Вам, что «подконтрольная демократия нереальна, а нужен демократический контроль».

Из моего давнего письма Вы знаете, что я в принципе поддерживаю представление о конвергенции как неизбежном историческом процессе. Перечитывая теперь мои старые статьи в «Новом мире», я обнаружил, вернее восстановил в памяти, что эти статьи содержат — в подцензурной форме — аргументы в подтверждение того, что в обеих системах происходят сходные социологические и экономические процессы, и там и здесь личность находится в зависимости от крупномасштабных организаций, демократический контроль — злостная задача, и в результате возникают сходные нравственные проблемы. (Позволю себе преподнести Вам оттиски двух моих статей, в определенной части не потерявших злободневность).

Аналогия между процессами, происходящими в западных странах и в СССР, не ослабляет справедливости сформулированной Вами мысли, что «в условиях нашей страны нравственная и правовая позиция является самой правильной, соответствующей потребностям и возможностям общества».

Из сказанного мною по поводу проблемы конвергенции вытекает, что и в Вашем споре с А.И.Солженицыным я всецело согласен с Вами. Сформировалось мировое хозяйство, неразрывны и будут углубляться многообразные связи и формы взаимозависимости между отдельными его частями и элементами, складывается, впервые в истории, человечество как реальный фактор и как понятие осознаваемое людьми (чего не было в прошлые эпохи). Здоровый подъем национального движения с философско-исторической точки зрения не противоречит этому процессу, потому что национально-освободительная борьба и острое чувство национального достоинства фактически противостоят государственному и межгосударственному насилию, а не прогрессу человечества в целом.

Будущее нашей страны — и, если угодно, историческая миссия России, как ее понимали люди моего поколения, — может быть построена не на реакционных утопиях, а на включении нашей многонациональной страны через связь с Западом в процесс развития всего человечества.

Пишу Вам не программное письмо, но, собственно говоря, и не чисто личное. Я имею возможность заверить Вас (и это не голословно), что по всем затронутым проблемам именно Вы встречаете сочувствие и согласие у очень большого числа мыслящих людей, которые, к сожалению, лишены возможности заявить о своей поддержке и выразить лично Вам свои самые горячие чувства и глубокое уважение.

Выражением таких же чувств я заканчиваю свое письмо.

Май 1974 г.

(Е.Гнедин)

НА ПОРОГЕ

...Моя книга и эти заключительные очерки по форме посвящены пережитому и продуманному в тюрьмах и в лагерях. Но по существу мои «Записки» — исповедь. В них повествуется о проблемах, надеждах, но и и ошибках, иллюзиях, относящихся к различным периодам моей жизни и жизни страны. Я оценивал события с позиций сегодняшнего дня, но одновременно стремился отразить взгляды мои и моих сверстников, какими они были в то время, о котором я пишу.

Мои усилия по возможности объективно и критически проанализировать эволюцию страны и людей, а также мои признания в том, что даже в страшные годы я не полностью изжил иллюзии, — все это может вызвать...критические, даже саркастические замечания. Я считался с такой возможностью. Мой ответ на эту критику — моя книга в целом.(...)

Тяжко думать теперь, что по-прежнему злободневны многие горькие замечания, сделанные на протяжении более десятка лет. Таковы высказанные еще в начале семидесятых годов соображения о бремени сталинского наследства, от которого государство еще не освободилось; более того, к концу семидесятых это гнетущее бремя стало еще более ощутительным. Подмена средств и целей возведена в систему. Акты беззаконий, циничные судебные расправы по-прежнему остаются кровоточащей раной нашего общества.

Пожалуй, злободневно звучат слова Герцена:

«Консерватизм, не имеющий иной цели, кроме сохранения статус кво, так же разрушителен, как и реакция. Он уничтожает старый порядок не жарким огнем гнева, а на медленном огне маразма».

...Во всяком случае я счел бы отрядным, если бы в стране было побольше людей, отвергающих самообман насчет подлинных черт господствующей идеологии и форм государственного управления. Это — признак того, что страна найдет выход из лабиринта средств и целей.

Многое свертывает в тревогу, но кое-что внушает надежду. Наблюдается процесс, предпосылки и последствия которого еще неясны, он требует продумы-

вания. Государство, государственный аппарат — с одной стороны, и общество — с другой, претерпевают эволюцию в противоположных направлениях. Партийно-государственный аппарат, опирающийся на конституцию 1977 года, приобретает все новые склеротические черты, между тем общество постепенно оживает, становится плюралистическим. Наблюдаются и зачатки еще незрелого политического плюрализма, но я имею в виду прежде всего разнообразие в мировосприятии, в мировоззренческих концепциях. Брожение в обществе при отсутствии гласности не означает, что исчезла обывательская инерция, инерция покорности начальству. Тем не менее идейное и духовное разнообразие — пусть еще в скрытых формах — есть проявление поисков выхода из лабиринта.

В этих условиях решающее значение имеет противостояние личности произволу и несправедливости. По сути это — тема моей книги. К настоящему времени применимы высказанные в книге мысли об условиях сохранения человеческого достоинства, о преодолении отчаянья, о путях духовного обновления.

Обществу, несомненно, придется в обозримом будущем преодолеть новый исторический рубеж. Источник осторожного оптимизма — в том, что в обществе пробивает себе путь глубокий процесс накопления духовной энергии и подлинных культурных ценностей. Исподволь закладываются предпосылки для того, чтобы будущие катастрофические перемены завершились возрождением личности и общества.

Суждено ли мне постичь, что таится там, по другую сторону порога?...

июнь 1978 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫХОДЕ ИЗ КПСС

*Первому секретарю
Калининского райкома КПСС г.Москвы
от Гнедина-Гельфанда Е.А.
(парторганизация ГПИБ).*

Ставлю Вас в известность о своем решении отказаться от звания члена КПСС. Возвращаю мой партбилет №04832370.

Я подверг пересмотру взгляды, побудившие меня вступить в партию в 1931 году и определившие мое стремление после судебной реабилитации в 1955 году добиться отмены постановления об исключении меня из партии. Хотя КПСС давно перестала быть союзом единомышленников, а проповедуемая ею идеология приобрела формальный, декларативный характер, все же с морально-политической точки зрения я считаю невозможным мое дальнейшее пребывание в партии. Я продумал свое мировоззрение в целом и переоценил свои политические взгляды в свете эволюции советского государства и таких событий, как подавление военной силой демократического движения в Чехословакии в 1968 году.

Огромное значение имеет для меня то, что начатое на XX и XXII съездах КПСС раскрытие преступлений прошлого и губительных методов управления страной было свернуто, а намечавшийся процесс оздоровления государства и общества приостановился. Ложь относительно прошлого тяготеет над настоящим, ложь о современном положении страны омрачает будущее.

На 81-м году жизни я уже не могу предполагать, что стану свидетелем неизбежных исторических перемен в советском государстве и обществе, которые насущно необходимы народу и при которых, может быть, пребывание в партии стало бы осмысленным.

Впрочем, принадлежность к партии вообще противоречит сложившемуся у меня на склоне лет пониманию жизни общества и смысла жизни личности.

13 августа 1979 г.

Гнедин-Гельфанд Е.А.

К шестидесятилетию А.Д.Сахарова

Андрей Дмитриевич Сахаров в изгнании. Под строгим надзором. Лишен переписки и контактов с людьми, не только с учеными и друзьями. Отрезан от мира. И все же можно с полным основанием сказать о нем словами Анны Ахматовой, относившимися ко Льву Толстому: «Конечно, он всегда и отовсюду слышен и виден — из любой точки земного шара, но уже как явление природы, ну, как зима, осень, заря».

Сходство между нашим великим современником и великим русским писателем прошлого — в огромном общественном значении их нравственного облика и подвига и в том, что оба этих выразителя чаяний человечества оказались в конфликте с властями своего времени. Эта трагедия имеет всеобщее значение.

Люди, убежденные в непреложности ценностей, гуманным и мужественным поборником и хранителем которых стал Андрей Дмитриевич Сахаров, всей душой с ним, обращаются мыслью к нему в день его шестидесятилетия и желают ему сил и здоровья.

21 мая 1981 г.

Е.А.Гнедин

Когда глупец чернит картину мира,
Когда коварством хвастает злодей,
Меня старинная спасает лира —
Пою и вновь дышу вольней.

Как тяжело мне! Как больно ранит злоба,
Какое бремя трудное влачу...
Но не смирюсь: в страданиях до гроба
Разрушить мир мой я не захочу.

Во мне поет и память о любимой,
И верность светлой красоте,
И нежность тихая, и гнев неукротимый,
И страсть высокая к мечте.

Звучат слова и клятвы не впервые,
В них оправдание и смысл бытия;
Они — как слитки золотые,
И обесценить их нельзя.

Пусть каждый день настигнуть гибель может, —
Я вере в жизнь не изменю;
Пусть голод горестный и жжет, и гложет, —
Я мысль свободную храню.

Все видел я: бессмысленную участь
Злой нищеты, бесчинство подлеца,
Усмешку мерзкого и сытого лица...
Но ненавидя и любя, и мучась,
Своим путем пройду я до конца.

(1944 г., лагерь)

ПОСЛЕСЛОВИЕ

*Господи! Душа сбылась, —
Умысел твой самый тайный.*

М.Цветаева

...Среди многих моих утрат — от первых, ранних, до последних лет (когда утратам этим несть числа), эта потеря особая, отдельная, ни с чем не сравнимая. ...Не с горя, а в ясном сознании утверждаю: Евгений Александрович Гнедин принадлежит не только тем, кто его давно и близко знает, и даже не только тем, кто раньше или позже узнает его: его поразительную биографию и его мысли, уже переданные печатному тексту и оставшиеся пока в рукописи.

Он принадлежит также и тем, кто, быть может, никогда не узнает ни его имени, ни его жизни. И сейчас он и с нами, и с ними.

Ибо — он из того братства людей на Земле, кто доказал, что человеколюбец и жизнелюбец, даже если он властью обстоятельств обречен на одиночество, попран, загнан в угол, приговорен к безвестности, в чем-то непреходяще важном оказывается не слабее, а, минуя время, и сильнее самого чудовищного систематизированного человеконенавистничества, в ресурсе которого и самоуверенность механической мощи, и фатализм бессилия: покорство людей, уверовавших в предначертанность их итогов, финалов, развязок. Так кому же в этом разуверить человека, как не человеку?

То, что его не убили в 1939-м и позже, то, что его оставили жить, — все-таки случайность. Но то, что он выжил «там», — уже не счастливо вытщенный лотерейный билет, а равнодействующая в неравном поединке, где его сторону держали и врожденный сангвинизм, и благоприобретенные ум и сердце российского подвижника, и даже своего рода уленшпигелевское лукавство, какое также от сердца и от ума. Но для чуда было мало и этого, чуду нужны были еще сотворцы: любовь и дружба, их негласный союз, их взаимность на расстоянии, которое не измерить ни годами, ни верстами.

В награду — жизнь. Свои мемуары он назвал : «Второе рождение». Я не исключаю, что то же вправе сказать о себе многие, но по отношению к нему наименование это абсолютно точное. Его первая жизнь была под стать веку. Сын эмигранта, знаменитого во многих трудно сводимых обличьях (имя Гельфанда-Парвуса замелькало вновь, обращение же с его биографией далеко не всегда отличается точностью). Евгений Александрович еще ребенком расстался с отцом и вернулся на родину вместе с матерью, социал-демократкой. Революция

Приводится с незначительными сокращениями по полному тексту «В память о Евгении Александровиче Гнедине» из книги М.Гефтера «Из тех и этих лет» М., Прогресс, 1991.

застала его гимназистом и сразу втянула в свой ненасытный поток. Он был если не в самом эпицентре свершившегося, то вплотную к нему, что обогащало его сознание столь разными, на расстоянии же трудно отличимыми друг от друга событиями, как наша коллективизация и первые шаги овладевшего властью нацизма. Дипломат и журналист, он был близок к людям, значительность которых определялась не только занимаемыми местами. Он не боготворил ту жизнь, скорее стеснялся ее, и если не всей ее сплошь, то и не просто — эпизодов, застрявших занозою в памяти. Это чувство иной раз брало у него верх над доводами «исторического разума», но здесь таился и нравственный смысл: тот, который не позволяет успокоиться на силлогизме (пусть самом изошренном и разработанном) и вместе с тем не дает человеку застрять в отлучении прошлого от себя — занятии столь распространенном, несмотря на то, что оно давно уже истошило у нас свой начальный освобождающий запал, пафос Шестидесятых. Не стоит, однако, забывать, что живому свидетелю (соответчику, даже если он жертва) куда труднее, чем родившемуся позже, отдать себе горький отчет, что историю не исправишь задним числом и что все попытки этого рода ни на вершок не продвинут к разгадке тех страшных и будто внезапных обвалов, какие хоронят разом целые поколения не готовых к ним людей.

Раз второе рождение, стало быть, и вторая юность, вторая зрелость. Да, именно так и было с ним. Эту его юность и эту зрелость его я уже наблюдал воочию. И вновь, не в порыве горя, а проверяя чувство мыслью, утверждаю: то был подвиг. Подвиг без риторики, без малейшего намека на избранность. Подвиг понимания. Подвиг непредвзятости. Вернувшийся из небгытия, он не разучился слушать жизнь и слышать другие голоса, узнавать и радоваться узнанному. Уцелевший, он жаждал не мести и даже не возмездия, а того, что можно бы назвать неповторением — за отсутствием других, более точных слов, и за открытостью самого вопроса. А доступно ли оно, неповторение? Достижимо ли без крутых перемен и допустимо ли посредством крутых, да еще в том обличье крутости, которое от нас пошло, став достоянием и проклятием других?..

В нынешнем Мире, где в революционерах ходят убийцы и где террорист оспаривает смысл благоденствия за чужой счет, как и благополучия вообще, где все (мерещится нам в горький час) способны и могут стать всем, чем угодно, — он был как бы живым опровержением этих дурных снов наяву. Не словами отклонял он неумолимость экклезиастову: все суета и погоня за ветром... Не словами, ибо понял, что в какие-то внезапные моменты слова теряют силу, переставая соединять людей, и что как раз, когда крушатся цели и мельчают намерения, скудеет и Слово.

Его воспоминания — и на эту тему. Когда я читал их, еще машинописные, то был потрясен, и даже не столько тем, что выпало на его долю, и даже не тем, что он выдержал — и телесные муки, и еще более страшную сухановскую безысходность; нет, все-таки больше всего меня поразило, что, перенесший это, он как бы погасил в себе страдания. Именно — не растерял, не запер. А освободился от них все тем же Словом, доказав, что даже тогда, когда оно из всечеловеческой связки становится инструментом разъединения, оборотням Слова не удастся довести эту всеобщую размолвку до исчерпывающего конца.

...Летопись дней и дел второй жизни Евгения Александровича Гнедина пока не написана. Это наш долг. И когда мы исполним его, я уверен, мы сами будем удивлены, сколь многое уместилось на ее страницах при редкостном совпадении поступка и мысли. При том, что в поступках его, как и в словах, не обнаружить никаких нарочитостей, никаких «слишком», ничего «сверх». Поступок мог опережать мысль либо отставать от нее, но в конечном счете — они брали друг друга за руку. И шли навстречу людям с незабываемой гнединской улыбкой...

...Возраст и жизненный опыт Евгения Александровича придавали особую зоркость его взгляду. Может быть, я и преувеличу, сказав, что он не ошибался в людях, но в доказательство смог бы привести не один случай, когда печальные казусы подтверждали его прогноз и оценку. Но все же не это мне хотелось бы выделить, а другое и даже противоположное. Именно — доверие, которое он питал к человеку: не обязательно исповедующему то же, чего держался он сам, и не непременно праведному в своих помыслах. Проще бы всего объяснить это его доверие доверчивостью, природной доброжелательностью и снисходительностью. Мне самому в начале нашего знакомства казалось, что Евгений Александрович не свободен от слабости, несуразное прозвище которой — «всеядность». Впоследствии я убедился, что не прав, и не столько фактически, сколько принципиально. И даже не столько не прав был я, сколько прав был он — в своей презумпции доверия к людям.

...Как-то, в те уже эпические времена, когда перед зданием суда, где происходил очередной диссидентский процесс, собирались близкомыслящие и страдающие, Евгений Александрович столкнулся с иностранным журналистом, которого знал еще по своим доархипелаговским годам. Тот спросил (удивленный, вероятно, несоответствием между почтенным возрастом и этим его новым занятием): «А вы здесь в качестве кого?». «Завотделом печати Литвинова», — отшутился Е.А. Шутка соответствовала не послужному списку, а биографии, которая столь часто начинается падениями, разрывами времени внутри человека. Может начаться, а может и вовсе не начаться... Не начался ли «завотделом печати» Литвинова в тот день и час, когда он перестал быть таковым по всем видимым признакам; не потому ли остался им и после, что тогда и до самого конца был человеком без «должности», не вписывавшимся в привычную игру ролей и престижей, ни в одну из нынешних котировок на бирже успеха? Шутка соответствовала сознанию — в том смысле, что не противоречила ему, хотя и не исчерпывала. Сознание было шире и подвижней, чем любой из импульсов и повседневных жизненных решений. Тут, видно, сказалось и то, что в своей первой жизни, внешне не слишком выделявшей его среди друзей и сверстников, он все-таки чем-то отличался от них, людей того поколения, которое сразу и прямо вступило в революцию, увлеченное ее книжностями и ее пророками. Вступивши же, растворилось в ней, неприметно отождествляя и себя с нею, усматривая в каждом собственном шаге железную необходимость, выступала ли эта последняя в виде права распоряжаться другими людьми или как согласие на то, чтобы нечто и некто, воплощающие «общую волю», распорядились ими и их жизнями. А как же иначе, если революция? Единомыслие было ее условием и предписанием, отречение от себя — производным от единомыслия и санкцией принуждения к

нему еще нездоровых, «темных», блуждающих и спотыкающихся. Потом и самоотречение стало предписанием, рождая иные санкции — в придачу к прежним... Он не был ни блуждающим, ни спотыкающимся, не был он и скептиком, однако не был и фанатиком. Веруя в единственную необходимость (заявленную страной-эпохой, державой-Миром), он вместе с тем как бы дистанцировался от ее железности, от ее единственности, отделяясь от них не столько бытием, сколько бытом и характером, широтою в человеческих отношениях и привязанностью к тем, кого взыскательно числил в друзьях, своей старомодной верностью избранице сердца и своим «богемным» артистизмом, умением находить мгновенную радость в рифме и звуке и удерживать навсегда эту радость в себе. Мало этого или достаточно, чтобы устоять, сохранив и плоть и совесть? Не станем торопиться ни с «да», ни с «нет». Мы знаем, что он устоял. И если «дело Литвинова» отменилось не только и, может, даже не столько потому, что «подкачал» главный свидетель, то разве не он выиграл время — во спасение других?..

...Потомуку социалистов-космополитов, одесситу нравом и антифашисту верой, — куда ж ему и было прийти, как не в этот долгий ряд простаков и отщепенцев? Им родственный, и особенно тому из них, кто дерзнул назвать себя «апостолом необрезанных» — и, презираемый, преследуемый со всех углов, противопоставил гонителям не стяг ожесточившейся секты, а символы дерзкой, неуступчивой и подконтрольной себе открытости. «Будучи свободен от всех, я всем поработил себя: для подзаконных подзаконный, для чуждых закона — чужд закона, для немощных — немощный. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых».

Надо ли говорить, что ответственность за это сопоставление я беру на себя, ибо, даже движимый любовью и восхищением, не собираюсь заниматься приписками к сознанию своего ушедшего друга. Представляю себе, как улыбнулся бы он, сочувственно и иронически, изложи я сказанное с глаза на глаз. Сочувственно — по существу. Иронически же, поскольку был достаточно строг в самооценке и явно не годился в пророческие персоны, на которых такой спрос сейчас (впрочем, и предложение немалое).

А между тем кто, как не он, спасал — и «там», и после, ограждая «по крайней мере некоторых» от прямых опасностей, и, конечно же, не посредством попечительских распоряжений и даже не непременно вторгаясь в обстоятельства другой жизни. Спасительной силой обладала его потребность быть на месте в минуту человеческих бед и страданий. В старой Руси, по свидетельству Даля, психологов именовали душесловами. Евгений Александрович был душесловом по складу ума и сердца, щедро и без расчета питающих другие души и получающих от них (в ответ) жизненный ток. Он не был ни набожен, ни склонен к эсхатологической мистике, оставаясь до конца дней тем, кого принято считать рационалистом, то есть человеком, полагающимся на разум и убежденным, что его источники далеко не истрачены, в том числе — и даже раньше всего — в тех сферах жизни, где человек имеет дело с самим собою; будучи «инакомыслящим», он и это исконное и совсем новое поприще также рассматривал как проявление разумности, равно возрождающей традицию и распаивающей человеческую це-

лину. И ее, эту «инакую» разумность нынешнего столетия, искал по крохам и приметам духовной и социальной жизни других миров: и в молодежном движении Запада, и в антибюрократических, антиавторитарных течениях, пытающихся найти способ решения проблем, затягивающая статика которых способна обернуться уже не поражением разума, а распадом его. Естественно, что он не задавал печальной памяти вопроса: с кем вы, мастера культуры? Он спрашивал себя, ему важно было внутри себя решить — с кем он? И спрашивать было нелегко, и еще сложнее отвечать. Он выходил из этих испытаний — не скажу более сильным, но что более мудрым — бесспорно. И если эта его мудрость и не возвращалась прямо к древней спасительной притче; то она все менее походила и на расхожий позитивистский оптимизм, и на деловую самоуверенность либералов и прогрессистов.

...Ах, Евгений Александрович, я наконец добрался до больного места, позвольте мне сказать — нашего общего. Я бы постеснялся присоединить свое имя к Вашим преимуществам, но там, где узко и больно сознанию, где ему особенно тягостно, я разрешаю себе встать рядом. А что труднее для сознания, чем сохранить веру в равенство, и что для него мучительней, чем утратить эту веру навсегда? Не раз, не два мы касались с Вами этого «сюжета». Я не стану сейчас воспроизводить наши диалоги. Не теоретические аргументы вспоминаются, не расхождения, а взаимность — не головная, а от того «нутра», которое, видно, и постояннее и упрямее в своих про и contra. И уж как история ни мордовала это наше нутро (Ваше, разумеется, неизмеримо больше, чем мое), как ни выгрызало в нем прорехи и дыры это самое равенство, которое вроде бы уже и не равенство, а что-то совсем иное, — иное, но сохраняющее и в чудовищном обороте печать своего мятежного происхождения (может быть, оттого оно и чудовищное в своем торжестве: без меры в насилии, без утрызения в творимых смертях?). Предать же это родное и треклятое равенство «чужому» суду, примириться с анафемами ему (и отнюдь не из посторонних уст анафемами) мы не то чтобы даже стесняемся, а проще: не в силах. А ведь знаем, что в contra современных консерваторов далеко не все от корысти и высоколобного чванства, знаем, что во многом, и все чаще, правы они — и не только в наблюдениях своих, но и в том прежде всего, что видят проблему: то есть то, что не решаемо всеми наличными средствами мозга и власти... Да и случайно ли, что среди этих «нео...» многие бывшие левые, и не перебежчики (слово-то какое гнусное: ренегаты...), а из мучимых ответственностью, как мы с Вами.

Если же отступить на два с лишним века назад, вспомнив «непоследовательного» социалиста Жан-Жака: «Не терпите ни богатей, ни нищих, из одних рождаются сторонники тирании, из других — тираны» ("Сблизьте между собой крайние ступени, пока это возможно")... А если еще дальше к все тому же первому из «сораспявшихся», от которого пошла утопия компромисса: «Рабом ли ты призван, не смущайся; но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся».

Притчи эти тем современным, что адресуются нравственности серого вещества, наступая на мозоль услужливости, с какой гибкий ум спешит навстречу весьма не высокого свойства вожделяниям и уловкам. Так слава тем притчам!

Так в дело те притчи, не разменивая их на то, что не-Дело... Но ведь, с другой стороны, их, эти притчи, не только в компьютер не заложить, но и не перекачнешь в пропись поступка, которому как не быть однозначным? «Лучшим воспользуйся» — мудрость вроде бы невеликая, и, конечно же, с ней охотно согласятся наши столичные знакомцы, мужья и жены науки (всмотришься — крестик на груди у тех, кто твердо держится практичнеешего правила: лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным...). А тут альтернативую не меньше и не больше: в силах стать свободным, пользуйся этим, но помни, что можешь и рабом призваться, в рабах застрять.

«Не смущайся». Как понимать сие — и не в 33-м нашей эры или слегка позже, а в 1983-м? Стоит ли всерьез принимать за выбор: по доброй воле — рабом?

Скажем — рабом равенства... Зная, что равенство неосуществимо целиком — нигде и никогда. Зная, что ему не осуществиться частью, если не ставить целью: утвердить полностью, повсюдно и навсегда. Зная, что среди препятствий на пути его — развитие, богатства мысли и души. Зная, что и развитие ущербно и может удушить себя богатствами мысли и души (да, и души также!), если не сделает своим смыслом и коррективом — равенство. Думая, что так этому и быть, поскольку было: развитию обороняться от равенства, равенству же — атаковать развитие, а в итоге заново обрывы развития, утраты смысла, новые спазмы рабства...

Ну, а если не так? Если было, но не будет? Ибо — совокупились непредвиденным, сумасшедшим образом прежняя кровь и нынешние орудия изничтожения. Ибо чересчур велик теперь запрос у равенства и чересчур запуталось в собственных несогласиях и заботах развитие. Ибо — вперед выступает и там и здесь слабость, оттого и прибегающая к силе, и не как к последнему средству, а мя, что именно для того, чтобы не было нужды в последнем... Что же делать нам, Евгений Александрович? Как распорядиться своим нутром, ежели нутру-то (без ложной скромности) — не только космополитические гены, но и самовыработка, доросшая до естества, до привычки, которую изменить равносильно тому, чтоб перестать быть собой?

Вон из рабов — или как раз пришел час, чтобы призваться в добровольную несвободу?

Несвободу от всех — несвободу от себя...

Этот вопрос наш с Евгением Александровичем, хотя редакция его моя. Мы шли к нему как бы с разных сторон: я — занимаясь историей, озабоченный проблемой ее «конца», возвращающего всех к ее «началам», он — обобщая и освежая мысли и опыты, обретенные разными цивилизациями в утверждении и развитии прав человека. Такова была тема его большой работы, оставшейся незаконченной. Он искал форму, соответствующую нетривиальному замыслу: он хотел, чтобы в его работе зазвучали разные голоса — живые и мертвые, давние и даже древние, но к концу нашего века заново ожившие, поражающие пронизательностью, пониманием того, что нужно человеку и что ему мешает, что его коверкает — извне и изнутри его самого.

Наш последний разговор на темы его труда был уже в больнице. Слабеющий, с явными приметам^{ами} страдания, он, несмотря на это, готовился продол-

жить работу, внося новые оттенки в центральный вопрос: о жизнепоказанности прав, оберегающих достоинство и суверенность каждого человека в его священной частной жизни, как и в неотделимых от нее связях с другими людьми, в пределе — со всеми, кто населяет Землю... На глазах его, человека, родившегося в самом конце прошлого столетия, произошло множество разительных перемен, но одну из них он особенно выделял как наиболее близкую его духовному миру и интересам. Я бы сказал — кровную по связям с пережитым им самим и им защищенным в поединке с жестокостью и с той ограниченностью, какая сама по себе неумолимо производит и мучителей и мучеников. Это близкое ему и новое, если обозначить одной скупой строчкой, будет звучать так: непереносимость в превращении международного права во внутреннее, всеобщих элементарных запретов истязать и унижать человека в открытом попрании национального, государственного и личностного развития, заведомо несводимого к одной норме, к единственному постулату.

...Прибегая к расхожим определениям, его можно было бы назвать и либералом, и демократом, и утопистом, и реалистом в одно и то же время. Но как раз существование таких людей, как Евгений Александрович Гнедин («Женечка», как называли его ближайшие друзья и дочь, романтик, вскормленный коренной русской культурой — от Пушкина до «серебряного века», что знал и понимал с удивительной тонкостью и точностью вкуса), заставляет усомниться в ярлыках и стягах, которыми люди не столько отличают себя от других, сколько отчуждаются от себя самих, от своей действительной тверди, которой у человека не может не быть, если только ее не отнимают у него, не вырывают из-под ног.

Мне кажется уместным коснуться в этой связи еще одного момента в его жизни, столь же биографического, сколь и общезначимого. Я говорю «общезначимого» убежденно и утвердительно, хотя знаю, что касаюсь болевой точки, притом разное болящей у людей даже близких, не считая многих, которые и не сочтут за общую болезнь (общую и болезнь) те странные и судорожные поиски самого себя, которые толкают у нас человека на вывоз себя вовне, на решение с оборванной «обратной связью». Евгений Александрович имел и фактическое и нравственное право уехать. Его звали, и на руках у него был «вызов». Его прошлое, его знание Мира, его человеческое обаяние вместе со свободным владением европейскими языками открыли бы ему широкие двери в тамошнюю жизнь и культуру. Как всякий смертный, он был бы утешен на склоне лет сладостью публичного признания. Но после долгих и трудных размышлений Гнедины — действовали они, как всегда, солидарно — отклонили исход. Они сделали выбор в пользу России. Не просто остались. Они стали жить в качестве оставшихся среди таких же, как они, с достоинством неся тяготы выбора. И опять-таки — без всякой риторики, без малейшего намека на жертвенность, без ожесточения, распространяемого на тех, кто чужд подобным трудностям и чувствам, как, разумеется, и без всякого высокомерия в отношении тех, кто принял иное, противоположное решение.

Говорят, костная мозоль, образующаяся на месте перелома, делает кость более прочной. Хочется распространить это и дальше. Разве не крепче «простой» добродетели нравственная мозоль? Красиво звучит, пожалуй, даже чересчур красиво, чтобы быть правдой, и уж во всяком случае тогда, когда позади не одна

жизнь и близок ее крайний край. Я бы рискнул назвать последние годы Евгения Александровича его третьей жизнью, и даже только началом ее. Чему же была бы посвящена эта жизнь — подведению итогов или попытке выйти за предел, очерченный не собственными только, а вообще человеческими итогами, какими выступают они в это затянувшееся большое лето — тем более трагическими, чем меньше осознается их несиюминутный, неконъюнктурный трагизм?

Краткость отпущенного срока не занижает значения того, чем была заполнена в последние месяцы его душа.

Он болел долго, но сгорел быстро. Даже опытниейшие врачи, не ошибшиеся в диагнозе, не смогли предугадать, что у человека, которого расхожее представление вправе бы отнести к старцам, смертельный недуг будет протекать по «молодому» графику. Он и не был старцем; болезнь впервые вывела наружу возраст. Он умирал только телом. Он страдал, но не оплакивал себя. И в летописи его жизни закатные записи читаются с такой же болью, но и с той же гордостью за Человека, с какой читаются страницы, на которых стигмы пыточных тюрем.

Внушает эта книга бытия надежду либо отчаянье? Все зависит от того, как читать ее, что связывать с каждым из этих понятий. Если нынешней надежде суждено прорасти из отчаяния, то саму надежду мы вправе назвать его именем рядом с другими родственными именами. Назвать, обязываясь не к выравниванию по этому образцу, что и недоступно, и, как всякое выравнивание, в конце концов больше отнимет, чем прибавит. Другое нужно. К другому зовет его дух: к верности, формируемой памятью и пониманием, к верности себе и близким, ко всем, кто сам не утратил потребности быть близким и верным — другим, иным, всем.

Значит, ко всем... кроме тех, кто утратил эту потребность, кто обделен даром верности и близости, кому поперек дороги «презумпция доверия»?

Нет, все-таки не так. По обстоятельствам вроде бы так. И даже по справедливости так. Но тогда ничтожно мал шанс на Спасение. И потому иначе: включая в близкие и тех, кто не близок.

Полагаю, смысл его третьей жизни — в этом. И ее незаконченность, ее смертный обрыв сродни этому смыслу. И оттого также и смерть его входит в надежду. И оттого смерть не антагонист его жизни, а ее продление. Продленная подобна той, что позади: она горькая и счастливая. И он сам — вопреки этой горечи и благодаря ей — счастливый человек. Счастливый в людях — тех, кто рядом, и тех, кто родится после; и в тех, кто пробудится позже.

Через всю жизнь пронесший любовь к одной женщине, унесший это чувство с собою и оставивший его здесь. Нашедший в дочери продолжение себя: нежного и умного друга, опору в дни Ухода.

Поистине: душа его сбывалась. Сбывалась полностью. Прекрасная и высокая.

Август-октябрь 1983

М.Гелфтер

ГЛАВНЫЕ ВЕХИ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ГНЕДИНА

1898 г., 29 ноября	родился в Дрездене, в семье эмигрантов из России
1916 г.	окончил среднюю школу в Одессе и поступил на медицинский факультет Одесского университета
1919 г., март	участие в партизанской борьбе с белыми
1919 - 20 гг., зима	полунелегальное пребывание в «белой» Одессе
1920 г., лето	выезд в Москву с продэшелоном
1920 г., осень	направлен для окончания высшего образования на экономический факультет Ленинградского университета
1922 - 1930 гг.	работа в Народном комиссариате иностранных дел, в т.ч. зав.подотделом торговой политики и старшим референтом по Германии
1924 - 1930 гг.	член таможенно-тарифного комитета при Совнаркомс СССР
1927 - февраль 1935 г.	зам.зав.иностр.отдела «Известий ЦИК СССР»
1931 г.	принят кандидатом в члены ВКП (б)
февраль 1935 - июнь 1937 г.	первый секретарь посольства СССР в Берлине
июнь 1937 - май 1939 г.	зав.отделом печати НКВД СССР
май 1939 - октябрь 1955 г.	арест, тюрьмы, лагерь, ссылка, реабилитация
1956 г.	восстановление в рядах КПСС
1956 - 1980-е гг.	журналистско-публицистическая и правозащитная деятельность
1966 г., 16 февраля	выступление в ИМЭЛ на обсуждении книги А.М.Нескрича «1941. 22 июня»
1979 г., 13 августа	выход из КПСС
1983 г., 14 августа	умер в Боткинской больнице

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ Е.А.ГНЕДИНА

1. Отдельные издания:

- «От плана Дауэса к плану Юнга», — М., «Московский рабочий», 1929, (под псевд. Номад; в соавторстве с Политикусом).
- «Международные договоры СССР», — М., Госиздат, 6/д.
- «Разоружение — узел международных противоречий», — М., Соцэкгиз, 1934.
- «Что происходит в Европе?», — М., ОГИЗ, 1938, (под псевд. Е.Александров)
- «Социал-реформизм и колониальный вопрос», — М., Соцэкгиз, 1961 (совместно с Т.Скоровым и А.Степановым).
- «Из истории отношений между СССР и фашистской Германией» (документы и современные комментарии), — Нью-Йорк, «Хроника», 1977.
- «Катастрофа и второе рождение», серия «Библиотека самиздата» №8, Амстердам, Фонд имени Герцена, 1977. (Опубликовано частично под названием «Себя не потерять»/фрагменты мемуаров/ — «Новый мир», 1988, №7)
- «Выход из лабиринта», — Нью-Йорк, Чалидзе Пабликейшн, 1982.

2. Публикации в сборниках и журналах:

- «На путях к колхозу» — «Красная новь», 1930, №5;
- «Австрийский опыт» — «Красная новь», 1930, №12;
- «Революция в Испании» — «Новый мир», 1931, №5;
- «Лето 1931» — «Новый мир», 1931, №9;
- «Германский фашизм у власти» — «Новый мир», 1933, №№6-8;
- «На стыке двух эр» — «Новый мир», 1933, №12;
- «Блок трех агрессоров» — «Большевик», 1937, №22;
- «Армия советского народа» — «Большевик», 1938, №2;
- «Война в Китае и международные противоречия» — «Большевик», 1938, №5;
- «Легенда о свободном рыночном хозяйстве» — «Вопросы экономики», 1958, №8;
- «Колониальная политика социал-реформистского Интернационала между двумя войнами» — «Проблемы востоковедения», 1961, №6;
- «Банкротство правосоциалистических программ» — «Вопросы экономики», 1961, №10;
- «Бонн на чаше весов» — «Мировая экономика и международные отношения», 1961, №10;
- «Распад колониальной системы и банкротство социал-реформистского Интернационала» — «Народы Азии и Африки», 1962, №2;
- «Закономерности движения» — «Новый мир», 1962, №2;
- «Империалистическая интеграция и капиталистические противоречия» — «Вопросы экономики», 1962, №12;
- «На Западе — перемены» — «Новый мир», 1963, №7;
- «Исследование важной социологической проблемы» — «Мировая экономика и международные отношения», 1963, №8;
- «Судьба европейского наследства» — «Новый мир», 1964, №1;
- «Модель и действительность» — «Новый мир», 1964, №9;

- «Бюрократия XX века» — «Новый мир», 1966, №3;
 «Воссоздание истины» — «Новый мир», 1966, №6;
 «Хорошие европейцы» — «Волга», 1967, №4;
 «Не меч, но щит» — «Новый мир», 1967, №7;
 «Механизм фашистской диктатуры» — «Новый мир», 1968, №8;
 «Масштабы и характеры» — «Новый мир», 1968, №10;
 «Научно-техническая революция в капиталистических странах» — «Новый мир», 1969, №9;
 «Революционер-дипломат ленинской школы» — «Новый мир», 1970, №2;
 «Утраченные иллюзии и обретенные надежды» — «Новый мир», 1970, №10;
 «В Наркоминделе, 1922-1939» — «Память», вып.5, Москва 1981 — Париж, 1982.

3. Газетные публикации:

В 1927-1939 гг. Е.А.Гнедин опубликовал не менее 300 газетных статей (в т.ч. передовиц) в «Известиях», «За рубежом», «Ленинградской правде», «Москауэр Рундшау», «За индустриализацию», «Правде», «Журнал де Моску» и др.

Наиболее важные и заметные из напечатанных в «Известиях»:

- «Движущие силы газетной политики» (19.05.1927)
 «Германия на распутье» (1.03.1928)
 «Германия и СССР» (3.03.1928)
 «Разговор по душам» (8.09.1929)
 «Версальская система в действии» (9.06.1929)
 «Политический кризис в Испании» (16.04.1931)
 «Кризис торговой политики капиталистических государств» (21-27.04.1931)
 «Поступательный ход испанской революции» (15.07.1931)
 «Между двумя войнами» (3.08.1931)
 «На нисходящей кривой (Экономический кризис в Германии)» (10.09.1931)
 «Первые плоды панъевропейского дерева» (26.10.1931)
 «Доктор Фауст без работы» (5.12.1931)
 «Об умирающих и мертвых городах» (8.04.1932)
 «Вход в жизнь запрещен» (23.05.1932)
 «Кулак и фашист» (17.08.1933)
 «За кулисами истории» (17.01.1934)
 «Кризис послевоенной Франции» (1.04.1934)
 «Железная поступь истории» (29.07.1934)
 «Гражданская война в Испании» (17.10.1934)
 «Гражданин СССР» (7.11.1934)
 «Баланс Мюнхена» (23.10.1938)

Из работ, посвященных жизни и деятельности Е.А.Гнедина отметим две:

П.Реймонд «Свидетель и очевидец» — «The Russian Review», 1985, v.44, pp.379-395;

и «От революционного идеализма к политическому инакомыслию /Жизненный путь Евгения Гнедина/» — «Soviet Union /Union Sovietique», 1985, v.12, pt.2, pp.185-212.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- АКСЕНОВ В.П. 131
АЛЕКСАНДРОВ А., псевд. Е.Г. 169
АЛЕКСЕЕВ М.П. 132
АПРЕСОВ, б.дипломат, сокамерник Е.Г. 69
АРДОВ В.Е. 132
АСТАХОВ Г.А. 15, 36, 54, 69
АХМАТОВА (ГОРЕНКО) А.А. 132, 154
БЕЖАНОВ, сотр.НКВД 12-13
БЕРГГОЛЬЦ О.Ф. 132
БЕРИЯ Л.П. 12-16, 21-22, 24-26, 28-29, 31, 33-34, 37, 46, 49, 52, 54, 56, 68, 71, 99-101
БЕРНДТ, заместитель Геббельса 56
БЕССОНОВ С.А. 35-37
БЛОК А.А. 26, 80, 111
БОБОЧЕНКО Ермил, б.секретарь Мурманского обкома КПСС, сокамерник Е.Г. 69
БОННЕР Е.Г. 149
БРАНДТ В. 141
БРЕЖНЕВ Л.И. 138
БРОДСКИЙ И.А. 125-126, 130, 132
БУЛАТОВ, б.зав.орготделом ЦК ВКП/б/, сокамерник Е.Г. 69
БУРЛАЦКИЙ Ф.М. 134
БУХАРИН Н.И. 35-37
ВАСИЛЬЕВ, инженер-путиловец, сокамерник Е.Г. 69
ВИЛЬГЕЛЬМ II (ГОГЕНЦОЛЛЕРН) 25
ВОРОНКОВ, следователь НКВД 27-31, 43, 46, 54
ВОРОШИЛОВ К.Е. 137
ВЫШИНСКИЙ А.Я. 33, 36, 130
ГАРБУЗОВ М.М. 49-50, 63, 66, 71-72, 75
ГАСТЕВ А.К. 147
ГЕББЕЛЬС Й. 56
ГЕГЕЛЬ Г.В.Ф. 77, 80, 85
ГЕЛЬФАНД Марк. 50
ГЕРЦЕН А.И. 6, 80, 84, 102, 151
ГЕРШЕЛЬМАН Э.Е. 50
ГЕФТЕР М.Я. 4, 80, 159-166
ГИНЗБУРГ Л.Я. 84
ГИРШФЕЛЬД Е.В. 14, 34-36
ГИТЛЕР (ШИКЛЬГРУБЕР) А. 129, 135-136, 141
ГЛАДИЛИН А.Т. 142
ГНЕДИНА Н.М. 4, 8, 11, 18, 20, 40-42, 49, 54-55, 58, 66, 79, 93, 99-100, 105-106, 107-108
ГНЕДИНА Т.Е. 4, 105-106, 165
ГУМИЛЕВ Н.С. 26, 111
ГУСТОВ, 1-й секретарь Псковского обкома КПСС 134
ДАЛЬ В.И. 162
ДАНИЭЛЬ Ю.М. 125-126, 128, 130-131
ДАРВИН Ч. 114
ДЕБОРИН Г.А. 132, 135
ДЕКАНОЗОВ В.Г. 13-14, 18-20, 22, 99
ДЕМИЧЕВ П.Н. 124
ДЖОНСОН Л. 141
ДОДД М. 75
ДОРОЖИЛОВ, инженер, сокамерник Е.Г. 69
ДОСТОЕВСКИЙ Ф.М. 81
ДУБЧЕК А. 140
ДУВАКИН В.Д. 130
ДЪЯКОВ Б.А. 113-116
ЕВТУШЕНКО Е.А. 129, 131
ЕГОРЫЧЕВ Н.Г. 124, 129
ЕЖОВ Н.И. 37, 59, 69-70
ЕПИШЕВ А.А. 131
ЕСЕНИН-ВОЛЬПИН А.С. 128
ЖДАНОВ А.А. 132
ИВАНОВ Вяч.Вс. 130
ИВАНОВ В.И. 26, 111

- ИЛЬДРЫМ Ч. 69, 71-75
КАМЮ А. 91
КАНДЫБИН Д.Я. 94-95
КАФКА Ф. 52
КЕРЖЕНЦЕВ (ЛЕБЕДЕВ) П.М. 147
КИРОВ (КОСТРИКОВ) С.М. 69-71, 73-74
КЛИМЕНКО, б.пом.военного атташе в Берлине 50
КЛЮЧЕВСКИЙ В.О. 62
КОБУЛОВ Б.З. 22-25, 27-28, 33, 42, 45-46, 52, 54, 56, 71, 99
КОЛЬЦОВ (ФРИДЛЯНД) М.Е. 46-49
КОНЧЕВ, нач.лапункта 99
КОПЕЛЕВ Л.З. 130
КОРЖЕНКО В.С. 12
КРЕЙНИН Федор [возможно – КРЕЙНИН И.Ф., б.сотрудник секр.-полит. отдела НКВД, арестованный в 1938], сокамерник Е.Г. 69, 92-93
КРЕСТИНСКИЙ Н.Н. 34-35
КУЗЕНИЦ М.Б. 39, 51-52, 59
ЛАРИН С.И. 11
ЛЕВЕНТОН, сокамерник Е.Г. 95
ЛЕНИН (УЛЬЯНОВ) В.И. 61, 143
ЛИЗАРЕВИЧ А.С. 109-112
ЛИТВИНОВ (ВАЛЛАХ) М.М. 12-13, 15-19, 25-26, 28, 30-31, 34-35, 49-51, 101, 136-137, 161-162
МАЛЕНКОВ Г.М. 13-15
МАЯКОВСКИЙ В.В. 85
МЕДВЕДЕВ Р.А. 145, 150
МЕЙЕРХОЛЬД В.Э. 41
МИХАЙЛОВ, председатель Госкомпечати 131
МИХАЛКОВ С.В. 132
МОЛОТОВ (СКРЯБИН) В.М. 13-19, 34, 36, 40, 49, 100-101, 136
НАЗАРОВ, секретарь М.М.Литвинова 17
НАНИЕШВИЛИ, старый большевик, сокамерник Е.Г. 59
НЕКРИЧ А.М. 131, 137
НИСИ, поверенный в делах Японии в Москве 11
НИЦШЕ Ф. 88
НОМАД, псевд. Е.Г. 169
ОРДЖОНИКИДЗЕ Г.К. 74
ПАВЛОВ С.П. 129
ПАРВУС А.Л (ГЕЛЬФАНД И.Л.) 8, 30, 33, 63, 82-83, 159
ПАУСТОВСКИЙ К.Г. 130
ПИЛСУДСКИЙ Ю. 59-60
ПИНЗУР И.Л. 47, 50-51, 55, 71, 75
ПЛОТКИН М.А. 12, 18
ПОЛИТИКУС, псевдоним (?) соавтора Е.Г. 169
ПУШКИН А.С. 26, 132, 165
РАДЕК К.Б. 37, 51
РАЕВСКИЙ С.А. 60
РАЗГОН Л.Э. 4, 111-114
РАЙХ З.Н. 41
РИББЕНТРОП И., фон 49
РОМАНОВ, следователь НКВД 32-33, 35, 38-40, 43-46, 50, 54
РУДЕНКО Р.А. 99-100
РУМЯНЦЕВ А.М. 127
РУССО Ж.-Ж. 163
РЫКОВ А.И. 35
РЯЗАНОВ (ГОЛЬДЕНДАХ) Д.Б. 82
САВЕЛЬЕВА, судья на процессе И.А.Бродского 126
САХАРОВ А.Д. 4, 101-102, 142-150, 154
СЕЛЬЕ Г. 28
СИНЯВСКИЙ А.Д. 125-126, 128, 130-131
СКОРОВ Т., соавтор Е.Г. 169
СКУРЛАТОВ В.М. 129
СЛУЦКИЙ Б.А. 111
СМИРНОВ Л.П. [так в тексте; правильно – Л.Н.] 126, 131
СОЛЖЕНИЦЫН А.И. 102, 113-115, 117-118, 129, 138, 150
СТАЛИН (ДЖУГАШВИЛИ) И.В. 12, 17, 27, 34, 48, 52, 56, 59-60, 62, 67-68, 74, 99-101, 111, 118, 123-125, 127, 131-132, 135-137
СТЕПАНОВ А., соавтор Е.Г. 169
СТЕЦКИЙ А.И. 48
СТОМОНЯКОВ Б.С. 20

ТАРАСЮК С.А. 99	ЦВЕТАЕВА М.И. 159
ТАРКОВСКИЙ Арс.А. 132	ЧАДЕЕВ, зам.начальника Главной военной прокуратуры 99
ТВАРДОВСКИЙ А.Т. 129, 133	ЧЕРНЫШЕВСКИЙ Н.Г. 84
ТОКМАКОВ, сотрудник спецотдела НКВД 13	ЧУКОВСКАЯ Л.К. 3, 6
ТОЛСТИКОВ В.С. 124, 126, 130	ШАПИРО Г. 17
ТОЛСТОЙ Л.Н. 118, 154	ШЕЛЕПИН А.Н. 125
ТРОЦКИЙ (БРОНШТЕЙН) Л.Д. 59	ШМИДТ Г.Н. 18, 45
ТУРЧИН В.Ф. 145	ШТЕЙН Б.Е. 18
УМАНСКИЙ К.А. 48	ШУЛЬГА Константин, соллагерник Е.Г. 112
ХИНКИН [так в тексте; правильно — ХИНКИС В.А.] 131	ЭРЕНБУРГ И.Г. 18, 100
ХРУЩЕВ Н.С. 123-125, 127	ЭТКИНД Е.Г. 132

Пояснения к указателю имен

1. Е.Г. — Евгений Гнедин
2. Ссылки на авторские тексты, входящие в сборник, включены в число ссылок к именам авторов и выделены курсивом
3. При составлении указателя мы старались восстановить точные инициалы упоминаемых лиц. В тех случаях, когда один или оба инициала отсутствуют, фамилия снабжается краткой характеристикой персонажа.
4. Если в тексте приведен литературный псевдоним, партийная кличка и т.п., то вслед за ней в скобках приводится настоящее имя упоминаемого лица.
5. Мы включаем в список ссылок все те страницы, где упоминается данное лицо; в том числе — без особых оговорок — и те, на которых оно упомянуто не в явном виде, а, например, описательно.
6. В нескольких случаях мы позволили себе поправить ошибки мемуариста в написании имен и порядке инициалов. Эти поправки заключены нами в квадратные скобки.

Указатель составлен С.Лукашевским

СОДЕРЖАНИЕ

От составителей	3
Слово над гробом — <i>Л.Чуковская</i>	6
I. КАТАСТРОФА И ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ	9
ЗАПИСКИ ДЛЯ ПОТОМКОВ	11
<i>Вечер 2 мая 1939 года</i>	11
<i>Канун ареста и арест</i>	16
<i>Пытки</i>	20
<i>По змеиной тропе</i>	32
I. Допросы, «документация»	32
II. Допросы и подлоги. Победа	38
<i>Опыт «психического воздействия»</i>	51
<i>Отголоски в тюрьме советско-германского пакта</i>	55
<i>Тюрьма и страна</i>	57
<i>Лефортово. Второе мнимое окончание следствия</i>	62
<i>В тюремном тупике. Сухановские будни</i>	67
<i>Поиски внутренней свободы</i>	76
<i>В лабиринте средств и целей</i>	81
<i>Из туннеля в туннель — к просвету</i>	92
<i>Лабиринты эпохи — А.Сахаров</i>	101
II. ЖИЗНЬ БЕЖИТ, КАК КРОВЬ ИЗ РАНЫ	103
<i>Письма из лагеря</i>	105
<i>Княж-Погост — Н.Гнедина</i>	107
<i>Жил, как думал — Л.Разгон</i>	109
<i>В редакцию журнала «НОВЫЙ МИР»</i>	113
III. ИЗ ШЕСТИДЕСЯТЫХ В «ДРУГУЮ ЖИЗНЬ»	121
<i>Заметки для памяти (1965-1966)</i>	123
<i>В Президиум IV Съезда Союза писателей СССР</i>	138
<i>Из дневника московского интеллигента</i>	139
<i>А.Д.Сахарову — автору «Размышлений о мирном сосуществовании, прогрессе и интеллектуальной свободе»</i>	142
<i>О препятствиях на пути к демократизации и их преодолении</i>	145
<i>А.Д. Сахарову</i>	149
<i>На пороге (послесловие к книге воспоминаний)</i>	151
<i>Заявление о выходе из КПСС</i>	153
<i>К шестидесятилетию А.Д.Сахарова</i>	154
<i>Послесловие — М.Гелфтер</i>	159
<i>Главные вехи жизни и деятельности Е.А.Гнедина</i>	167
<i>Основные работы Е.А.Гнедина</i>	169
<i>Указатель имен</i>	171

Подписано в печать 28.10.94. Формат 60x84 ¹/16.
Печать офсетная. Бумага офсетная.
Усл. печ. л. 11,0. Тираж 2025. Заказ 629.
Отпечатано в МП "Информполиграф".
111123, Москва, ул. Плеханова, 3а.

Незаурядность — вот главное качество этого человека. Оно провело его через все взлеты и падения XX столетия, по кромке сильнейших «стихий» нашего времени — финансового богатства, партийной иерархии, государственной власти, пыточных застенков, безнадежности лагерей, бессрочности ссылки, искуса нового конформистского благополучия — лишь ему пришедшим путем, который и вывел его из этого многоярусного лабиринта на Волю. И это не дает возможности (не впадая в вопиющую неточность) отнести его к какому-то клишированному множеству: революционер? дипломат? газетчик? референт Политбюро? жертва персонального сатанизма Молотова и Берии? зэк? пенсионер? историк? диссидент? — все это лишь ярлычки. А он был

Евгений Александрович Гнедин

(«Русская мысль», 6.10.1983)

«Мне думается, что это самый свободный человек, которого я когда-либо встречал...»

(Камил Икрамов)